

Лидия Чарская

Приютки



Лидия Чарская

Приютки

«Public Domain»

1907

Чарская Л. А.

Приютки / Л. А. Чарская — «Public Domain», 1907

За окном крупными хлопьями валил снег... Сад оголился... Деревья гнулись от ветра, распластав свои сухие мертвые руки-сучья. Жалобно каркая, с распластанными крыльями носились голодные вороны. Сумерки скрывали всю неприглядную картину глубокой осени. А в зале горели лампы, со стен приветливо улыбались знакомые портреты благодетелей...

© Чарская Л. А., 1907

© Public Domain, 1907

Содержание

ЧАСТЬ I	5
Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	9
Глава четвертая	11
Глава пятая	14
Глава шестая	16
Глава седьмая	20
Глава восьмая	23
Глава девятая	27
Глава десятая	30
Глава одиннадцатая	33
Глава двенадцатая	36
Глава тринадцатая	40
Глава четырнадцатая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Лидия Алексеевна Чарская

Приютки

ЧАСТЬ I

Глава первая

Первым сознательным воспоминанием Дуни было: невероятно теплый угол лежанки, крошечное оконце, выходящее на луг и на синеющие деревья леса, молчаливо-прекрасного и стройного там, вдалеке...

Когда выплывало солнце, белые зайчики бегали по стене избушки, а отец Дуни, чернобородый мужик с добрыми глазами, подходил к лежанке, подхватывал девочку своими огромными руками с мозолями на ладонях и, высоко подкидывая ее над головою, приговаривал весело:

– Вот мы как! Знай наших! Ай да Дунята, отцова дочка! Вот мы как! – И Дуняша смеялась невеселым, каким-то недетским смешком.

Так не смеются двухлетние... И глаза у нее были недетские – большие, задумчивые, глубоко ушедшие в орбитах, голубые и ясные, как лесные ручьи.

Потом Дуня уже не прыгала на руках отца Порфирия Прохорова. Порфирий Прохоров уехал на завод в город. Недостатки были в деревне, и большая часть кормильцев отправилась на заработки в Петербург.

Осталась Дуняша в родной избе со старой бабушкой Маремьяной да с котом Игнашкой. Матери у нее уже не было в ту пору. Дунина мать умерла, произведя на свет девочку. Каждую Фомину неделю, в дни поминовения усопших, бабушка Маремьяна стряпала кутью, увязывала парочку яиц в платок и шла на могилку дочери вместе с Дуней, поминать покойницу. Погостив на могилке, бабушка клала на нее круто сваренные яйца и сыпала кутью на могильный холмик, предварительно часть которой съедала тут же, не забыв угостить ею и Дуню. Налетали птицы, подбирали сладкие крупинки риса, а бабушка, улыбаясь, говорила, что радуется в эти минуты душенька усопшей дочери. Дуня любила эти походы на кладбище. Из церкви несся переливчатый, серебряный звон, бурое, окрашенное луком, либо красное яичко заманчиво выделялось среди молоденькой весенней травки, а там, издалики призывно шумел зеленым шумом лес и подкравшаяся весна сулила немалые утехи девочке.

В три года Дуня бегала туда уже с ребятами по ягоды, ходила по грибы с бабушкой Маремьяной в лесную чащу. Любила Дуня лес, его темные своды и мягкий ковер травы, испестренный цветами. Любила гомон пташек и стрекот кузнечиков и пестрых бабочек, таких нарядных, похожих на цветы. Об ушедшем отце думала мало. Бабушка постоянно говорила внучке, что вернется тятка, лишь только сколотит деньгу пошибче, и гостинцев принесет своей Дуняше. «Непременно вернется годика через три-четыре». Покамест на их крестьянской полосе орудовал подряженный бабушкой сосед, и отсутствие отца только и сказывалось в часы полдника или ужина: в прежнее время, бывало, заполняла всю их крошечную избу его громоздкая фигура с большой головою, добрыми глазами и черной окладистой бородой. Да еще никто больше не подбрасывал Дуню; на сильных руках с веселым смехом, никто не ласкал ее сердечной, простою отцовской лаской.

Положим, теперь бы и отец не подбросил девочку – подросла Дуня. Бабушке в избе помогает, за водой ходит к колодцу, в лес бегает с ребятами. Печь умеет растопить, коровушке корм задать, полы вымыть...

Бабушка не по дням, а по часам стареет. Все лицо излучилось морщинами, ходит не иначе, как опираясь на палку, и все кряхтит.

– Ничего, до весны, даст господь, протянет, а там и хозяин с завода вернется, – толковали соседки, не стесняясь присутствием Дуни, поглядывая на старуху.

Теперь Дуня стала нетерпеливее поджидать отца. С возможностью скорой бабушкиной смерти она уже успела примириться и, поплакав тишком, стала больше думать о приходе тятки, о котором, кстати сказать, имела сейчас очень смутное воспоминание.

И вот неожиданно случилось то «страшное», что на всю жизнь осталось памятным девочке.

Из Питера, с завода, где работал Порфирий Прохоров, пришло нацарапанное каракулями письмо.

А извещалось в том письме, что божией волею случилось с Прохоровым несчастье. Попал он под колесо машины и умер мученической смертью, раздробленный ею на сотню мелких кусков.

Несмотря на свои восемь лет, Дуня плохо поняла, однако, весь ужасный смысл полученного известия.

Зато бабушка Маремьяна, как дослушала конец питерской цидулки, прочтенной ей ее крестником соседским сыном Ванюшей, так и опрокинулась на лавку, почернела как уголь и уже больше не поднялась.

А через три дня положили ее рядышком с Дуниной матерью, под деревянный крест на погосте, у которого сама она частенько молилась за упокой души покойницы-дочки. Соседи подобрали Дуню, скорее испуганную неожиданностью, нежели убитую горем. Бабушку Маремьяну Дуняша больше побаивалась, нежели любила. Сурова была бабушка, взыскательна и требовательна не в меру. Чуть что, и за косичку и за ушенко оттреплет и без ужина отправит спать.

А все же жаль ее было девочке. И горько заплакала она, когда бабку Маремьяну зарывали в землю.

Через неделю пришло письмо с завода с бумагой за печатью и с деньгами. В бумаге говорилось о том, что малолетняя Авдотья Прохорова, усердными хлопотами заводского начальства, принята в приют как круглая сирота и дочь погибшего при исполнении своих обязанностей рабочего, и прилагаемые деньги посылались Дуне на дорогу.

Глава вторая

В несколько часов собрали соседи девочку и отправили с попутчиком в Питер.

Попутчик, глуповатый парень Микешка, ехавший наниматься в извоз, всю дорогу прикладывался к стеклянной посудине, что хранилась за пазухой, закусывал овощами и добродушно угощал Дуню.

Но та отнекивалась и отупелыми, распухшими от слез глазами смотрела в окно. В окне бежали деревья, будки, дома, деревни, коровушки паслись на лугу... И опять деревья... будки...

Все виденное в окне напоминало только что покинутое, родное сердцу: вот мелькнула деревня – несколько домов по откосу, вспомнилась своя деревенька, из которой с растерзанным сердцем уезжала нынче Дуня... Вот кладбище – и выплывало перед полными слез глазами свое кладбище, родная могилка матери, пасхальные яички, сладкая кутья с изюмом, молитвы и причитания покойной бабушки. Коровушка на лугу – точь-в-точь своя Буренка, та самая Буренка, которую порешили продать «миром» и вырученные деньги положить в сберегательную кассу в городе на имя Дуни... Вон лес опять начался за окном вагона...

И выступили ярко воспоминания в детской головке Дуни... Походы по грибы и ягоды... Тенистая прохлада, зеленый шум, пение птах и звон кузнечиков в мягкой мураве...

Слезы душили горло... Все миновало и не вернется никогда. Везут ее, Дуню, в чужой город, в чужое место, к чужим людям. Ни леса там, ни поля, ни деревни родной. Ах, господи! За что прогневался ты, милостивец, на нее, сиротку? Чем досадила она тебе?

И мучительно, до боли захотелось девочке прежней вола той жизни: потянуло в душную бедную избу, захотелось услышать неизменную воркотню бабушки Маремьяны. Почувствовать (куда ни шло) ее крепкие костлявые пальцы на замершем от боли ухе, услышать сердитое, шипенье раздосадованного голоса:

– Опять в лесу, непутевая, слонялась? Ну, стой ты у меня! Дай срок! Уже будет тебе крапивой!

Все миновало... Поезд несется так быстро, точно гонится кто за ним. Навстречу бегут по-прежнему поля, коровушки, деревни... Лес... Милый лес, родненькие деревни! Не быть там больше Дуне... Никогда! Никогда!

Большое коричневое здание на перекрестке двух улиц. Вокруг дома сад, опоясанный чугунным поясом решетки. А кругом дома, огромные, чуть не до неба (таково было мнение Дуни) и рядом маленькие, словно избы попеременно поставленные с большими.

Ехали они сюда с Микешкой-попутчиком долго-долго... Так долго, что у Дуни от сиденья даже ноги затекли. Сначала на чугунке, потом вышли на вокзале и чуть не потерялись в окружившей их сразу толпе.

Однако дошли до электрички, забрались в вагон и опять поехали.

У Дуни от первой этой поездки в жизни по железной дороге и от всей этой суматохи, грохота, шума и тряски в ушах звенело и голова стала тяжелая, как капустный кочан.

Парень Микешка бывал уже не раз в городе и объяснял своей спутнице про попадавшие им навстречу чудеса в виде огромных домов, трамваев, карет, колясок и велосипедов.

За всю ночь, проведенную в тряском вагоне, Дуня не сомкнула глаз, раздавленная, разбитая массой новых впечатлений, и теперь все проносилось перед ней, как в тумане. Наконец, доехали до места. Сошли. Держа в одной руке узелок с ее убогим приданым и уцепившись другой за руку Микешки, Дуня вошла в подъезд коричневого дома, показавшегося ей дворцом.

Перед ними очутился сторож с медалями на груди и с сивыми очень внушительного вида отвислыми усами.

Микешка, у которого вчерашний хмель еще не вышел из головы, стал сбивчиво объяснять сторожу что-то, путая, о заводе, о погибшем под машинным колесом Порфирии Прохорове и вскользь упомянул о Дуняше, пугливо прижавшейся к его руке.

– Стало быть, новую воспитонку привез, толку от тебя не добьешься! Деревенщина! – презрительно бросил сторож, едва выслушав рассказчика и окинув Дуню уничтожающим взглядом.

– Ждите. Сейчас помощницу призову, – добавил он уже в дверях, бросив через плечо еще один небрежный взгляд по адресу вновь прибывших.

Микешка, умаявшись долгим путем, присел на лавку тут же, в прихожей, большой светлой комнате со скамейками вдоль стен и с вешалкой внушительных размеров в углу.

– Дунька, сажайся, гостьей будешь! – усмехнулся он грубовато-ласково, проведя мозолистой рукой по белокурой головке девочки...

Та молча повиновалась.

И лишь только почувствовала себя на твердо стоявшей без колебания (не как в поезде и в электричке) скамейке, завела глаза и уснула сразу, точно провалилась в какую-то темную пропасть в тот же миг.

Глава третья

– Привез! Ну, и отлично! Бумаги с тобой? Прекрасно! Давай сюда. Восемь лет, говоришь? Маленькая! По росту меньше дать можно! Ну, вот и ладно. Можешь идти. Спасибо, что в сохранности довел. Ступай!..

Все это сквозь сон слышала Дуня: и незнакомый голос, и ответы Микешки. Потом что-то легко коснулось ее плеча.

– Проснись, девочка, проснись. Спать не время! – уже у самого своего уха услышала Дуня и сразу открыла глаза.

– Ах! – вскрикнула она, от неожиданности и испуга. Во сне это или наяву? Микешкин след давно простыл... Она сама сидит на скамейке в светлой прихожей. Тот же сторож с сивыми усами смотрит на нее внимательно и зорко, а перед нею... Господи Иисусе! Маленькое, кривовокое, с большим горбом за плечами существо близко-близко стоит около Дуни и держит исхудалую сухую руку у нее на плече. У горбуни длинное желтое лицо, полуседые-полутемные волосы, остриженные до плеч, с загибающимися кверху концами, подхваченные двумя гребенками у ушей, и темные глаза... Таких глаз еще отродясь не видывала Дуня. Большие, глубокие, серьезные, занимающие чуть ли не целую треть лица, они полны тепла, ласки и какого-то изнутри выливающегося света.

И глядя в эти темные, теплые, лучащиеся глаза, забывалось как-то общее впечатление, полученное от искаленной горбом фигуры и длинного желтого некрасивого лица.

Прочтя испуг и недоумение в обращенных на нее глазах Дуни, горбунья улыбнулась. И от этой улыбки еще больше и теплее засияли ее необыкновенные глаза.

– Здравствуй, девочка, здравствуй! – заговорила незнакомка. – Вот ты и у нас. Не бойся! Тебя никто не обидит. У нас добрые, милые девочки, а начальница у нас ласковая, сердечная, и тебе будет очень хорошо. Не боишься меня, а?

Девочка хотела сказать, что боится, но, взглянув в лучистые глаза, робко промолвила против собственной воли:

– Нет.

– Вот и хорошо! Вот и хорошо, – обрадовалась горбунья. – А теперь пойдем в лазаретную, там тебя вымоем, обстрижем, в казенное платье обрядим, и будешь ты у нас такая краля, что ни в сказке сказать, ни пером описать, – пошутила горбунья и, взяв Дуню за руку, повела куда-то.

По дороге она расспрашивала девочку, хорошо ли ей было ехать, не обидел ли ее кто в пути, и, похлопывая Дуню по плечу, все прибавляла, как бы ободряя ее после каждого ее односложного ответа:

– Ладно, ладно. Ты не бойся. У нас хорошо. И Екатерина Ивановна, и девочки все добрые, ласковые, любить будут. Только сама умницей будь. Слышишь? Будь умницей, Дуня!

Таким образом дошли они до какой-то двери.

Горбунья толкнула ее, и Дуня очутилась в большой светлой комнате с несколькими рядами кроватей. Навстречу им поднялась старушка в белом чистом халате, застегивающемся на спине.

– А-а... тетя Леля привела новенькую, – произнесла старушка, поправляя очки и улыбаясь большими, толстыми губами.

– Дуня Прохорова. Нынче из деревни только. Фаина Михайловна, уж вы потрудитесь, – произнесла горбунья, названная старушкой тетей Лелей.

– Садись, девочка, сюда. Прежде всего тебя остричь надо, – проговорила старушка и, выдвинув из промежутка между двумя кроватями деревянный табурет, посадила на него Дуню.

– Считай, сколько у тебя пальцев на руках, – засмеялась тетя Леля, – до десятого не дочесть, как уже все готово будет.

Действительно «все» было готово очень быстро. Машинка для стрижки с удивительной быстротой заработала вокруг Луниной головки, и из-под нее посыпались жиденькие косицы светлых и мягких, как лен, волос. Вскоре голова девочки, лишенная растительности, стала похожа на гладкий шарик, и еще рельефнее выступили теперь среди загорелого личика ребенка серьезные голубые, не по-детски задумчивые глаза.

– Ну, а теперь мыться! – скомандовала Фаина Михайловна.

В маленькой жарко натопленной конурке стояла ванна, наполненная водой. Ничего подобного не видела в своей жизни Дуня. В «черных» деревенских банях они с бабушкой Маремьяной шибко парились по субботам, но там не было ни намека на то, что она встретила здесь.

Крепко намывлив мочалку, Фаина Михайловна (заведующая лазаретным отделением, она же и бельевая надсмотрщица частного ремесленного приюта) старательно вымыла ею все тело Дуни.

Потом подогретой у печки простыней тщательно вытерла девочку и велела ей одеваться.

Грубое холщовое белье, вязаные домодельные чулки, шлепанцы-туфли и серое ситцевое платье с розовым полосатым передником, все это показалось воистину царским по роскоши одеянием для маленькой деревенской девочки, ходившей до сих пор в убогих лохмотьях. А когда обомлевшую от неожиданности Дуню Фаина Михайловна вывела за руку из душевой ванной в лазаретную комнату и подвела ее к висевшему между двух окон зеркалу, Дуня ахнула от неожиданности, увидя отраженную в его стекле аккуратную, маленькую фигурку в безупречно чистом скромном наряде, с круглой, как шарик, голой головой.

«Вот бы так-то пройтись обряженной по моей деревне, небось бы и не признал никто», – мелькнула быстро-быстро в стриженной детской головке наивная мысль.

– Ну, вот и готово. Говорила тебе, в кралю писаную тебя превратим, вот оно так и вышло, – пошутила горбатенькая тетя Леля и, быстро наклонившись к Дуне, неожиданно обняла и поцеловала ее в лоб.

– А теперь к Екатерине Ивановне, – добавила она бодрым, веселым тоном и, наскоро пожав руку лазаретной надзирательнице, почти бегом выбежала из комнаты, увлекая за собой Дуню.

Глава четвертая

– Вот и мы, Екатерина Ивановна, просим любить да жаловать!

Горбатенькая тетя Леля, все еще не выпуская Дуниной руки, стояла посреди светлой, уютно убранной гостиной, обставленной мягкой, темно-красной мебелью, с пестрым недорогим ковром на полу, с узким трюмо в простенке между двух окон, с массой портретов и небольших картин на стенах. У письменного стола, приютившегося у одного из окон, поставив ноги на коврик шкуры лисицы, сидела, низко склонившись с пером в руке, пожилая женщина в черном платье.

Дуне бросилась в лицо худенькая, почти детская фигурка, костлявые руки и маленькое сморщенное лицо с большими, близорукими, ежесекундно щурившимися глазами.

– Подойди сюда ближе, девочка! Покажись, – расслышала она тихий голос.

Костлявая рука подняла за подбородок личико приблизившейся Дуни. Большие глаза, прищурившись, зорко заглянули в ее зрачки.

– Ну, девочка, будь умна, послушна, прилежна. Исполни все, что от тебя требуется, и никто не обидит тебя. Ты сирота и с этих пор становишься воспитанницей нашего ремесленного приюта. Тебя будут учить грамоте, Закону Божию, счету и ремеслу. Когда ты вырастешь, тебе найдут место, словом, мы всячески будем заботиться о тебе.

Худенькая женщина мотнула головой и, снова схватив перо, принялась за прерванное занятие.

Тетя Леля шепнула Дуне:

– Поцелуй ручку у Екатерины Ивановны. Поблагодари твою благодетельницу. Она вам, девочкам здешним, мать родную заменяет... Поняла?

Но Дуня не двигалась с места.

Худенькая женщина, которая, как узнала впоследствии Дуня, была начальницей N-ского приюта Екатериной Ивановной Наруковой, снова мотнула головой.

– Уведите ее, Елена Дмитриевна. Мне некогда. Надо свести счета за текущий месяц.

– У начальницы всегда надо ручку целовать при встрече, – учила горбунья Дуню, когда они, выйдя из квартиры заведующей приютом, поднимались по широкой лестнице в большой светлый коридор.

– Ну, да ладно, пока тебе все это внове, приобвыкнешь потом, – снисходительно прибавила Елена Дмитриевна и снова открыла какую-то дверь.

Дуня остолбенела...

Посреди огромной светлой комнаты стояло несколько столов, заваленных кусками полотна, коленкора, холста и ситца. Вокруг столов, на низких деревянных скамьях сидело больше сотни девочек, возрастом начиная с восьми лет и кончая совсем взрослыми восемнадцатилетними девицами. Стриженные головки младших воспитанниц были похожи на шары, недлинные волосы у подростков, заплетенные в косы или уложенные на затылке прически взрослых – вот в чем было существенное отличие между тремя отделениями N-ского приюта.

Девушки и дети, до сих пор прилежно занятые работой, тотчас же при появлении Елены Дмитриевны и Дуни, как по команде, повернули головы в их сторону, и тихий шепот пробежал по столам...

– Новенькая! Новенькая! Смотрите, новенькую привели, девицы!

– Тише! Молчать! Нашли время шептаться. За работу, сию же минуту, лентяйки вы этакие! – послышался в ту же минуту громкий окрик неприятного, резкого голоса, от первого же звука которого дрогнуло невольно сердечко Дуни.

Она подняла испуганные глаза на говорившую. Это была высокая, плечистая женщина с румяным лицом, с длинным красивым носом, с черными усиками над малиновыми губами энергичного правильного рта и с круглыми, как у птицы, зоркими, ястребиными глазами.

Что-то неприятное было в этом своеобразно красивом лице и в круглых птичьих глазах, неприязненным взором вскинувшихся на вошедших.

И Дуня инстинктивно прижалась к ласковой горбунье, как бы ища у нее защиты от высокой женщины. Тетя Леля словно угадала настроение девочки и молча крепко пожала ее дрогнувшую ручонку.

– Павла Артемьевна, – произнесла она вслед за этим, – вот вам новенькую привела. Покажите ей на первых порах работу полегче.

Высокая женщина сдвинула свои темные брови, так что они сошлись на переносице, и оттого все лицо ее стало еще энергичнее и строже.

– Ты шить умеешь? – отрывисто и резко бросила она Дуне.

Та молчала, испуганными глазами глядя в лицо вопрошавшей.

– Тебя спрашивают! Или ты глухая? – снова точно оборвала Павла Артемьевна.

Дуня снова вздрогнула всем телом и все же молчала.

– Деревенщина! – не то насмешливо, не то снисходительно процедила сквозь зубы Павла Артемьевна. – На вот тебе пока... Сшивать полотнища умеешь?

Но Дуня и слова-то такого не знала, что означает «полотнища», и, только потупившись, глядела в пол.

Тогда горбунья с тихим ласковым смехом обняла ее за плечи и, подведя к концу стола, усадила на край скамейки, коротко приказав черненькой, как мушка, стриженной девочке:

– Подвинься, Дорушка, да покажи новенькой, как полотнища сшивать.

Девочка лет девяти, с живыми, бойкими карими глазами и вздернутым носиком поспешила исполнить приказание горбунии. Она взяла со стола кусок белого коленкора, разорвала его на две ровные части и, приложив одну часть к другой, придвинула работу близко к лицу Дуни, показывая, как надо сшивать края.

Иголка быстро заскакала в ее искусных ручонках, и Дуня видела, как легко и живо подвигалась работа у Дорушки.

Когда Елена Дмитриевна отошла от стола, Дорушка передала работу Дуне, сняла с пальца наперсток и надела его на палец соседки.

– На вот... Шей. Поняла?

Дуня поняла мало, но побоялась сознаться и принялась кое-как за работу.

А вокруг нее носился чуть слышный шепот, точно жужжало сотни пчелок в июльский полдень. Девочки, не разжимая ртов и не поднимая голов, быстро делились впечатлениями по поводу новенькой:

– Маленькая еще... Вчера из деревни. Голубоглазая... Сиротка, видать. За обедом узнаем, как звать и все прочее... Тетя Леля намедни про нее сказывала... – жужжали двуногие пчелки.

– Опять шептаться! К печке захотелось? Спину погреть? К Оне Лихаревой в соседство? – снова прозвучал резкий голос Павлы Артемьевны на всю рабочую комнату, после чего смолк в одно мгновение и без того чуть слышный шепот. И точно ему на смену раздалось тихое всхлипывание из дальнего угла комнаты.

Дуня невольно подняла глаза и повела ими в ту сторону, откуда слышался плач.

Обернувшись лицом к присутствующим и прислонясь спиной к большой изразцовой печке, стояла девочка немногим старше самой Дуни.

Ее хорошенькое свежее личико было сморщено в жалкую гримасу; синие бойкие глаза – полны слез. Маленькие пальцы теребили конец передника. Она всхлипывала с каждой минутой все громче и громче, и слезы все обильнее лились из ее покрасневших глаз.

Елена Дмитриевна в первую минуту своего появления в зале не заметила наказанную. Но вот ее теплые лучистые глаза разглядели девочку у печки.

Вмиг доброе желтое лицо горбуни вытянулось и приняло сердитое выражение. Брови нахмурились. Багровые пятна выступили на скулах.

– Павла Артемьевна, за что вы ее? – сдержанно и сухо обратилась она к заведующей рабочим классом брюнетке.

– За дело, не беспокойтесь, милейшая. Зря не обидим никого. Эта негодница Лихарева работать не захотела. А когда я ее заставлять стала, палец себе наколола до крови нарочно, чтобы настоять на своем... Ну, вот я ее и послала к печке. Пусть постоит да поразмыслит на досуге, хорошо ли так поступать!

Павла Артемьевна говорила с плохо скрытым раздражением в голосе, причем птичьи глаза ее поминутно сердито скашивались в сторону наказанной девочки.

Та, услыша последние слова рукодельной наставницы, заплакала громче, уже в голос, на всю комнату.

– Перестань, Оня! Покажи мне лучше твой палец! – прозвучал над ее головою знакомый тихий голос горбуни.

Елена Дмитриевна бережно взяла маленькую ручонку, внимательно взглянула на уколотый палец и покачала головою.

Кровь из Ониного пальца сочилась непрерывно, а сам палец распух вдвое против своей обычной величины.

Горбуня даже в лице изменилась, увидя это.

– Послушайте, однако, Павла Артемьевна, – сурово сдвинув брови, обратилась она к заведующей рукодельным классом, – так и до антонова огня девочку довести можно.

– Скажите до могилы лучше! – захохотала та, презрительно передернув плечами.

Горбуня вспыхнула.

Полным негодования взглядом окинула она брюнетку и, демонстративно повернув к ней спину, обняла стоявшую у печки Оню и проговорила серьезно:

– Что ты не хотела работать – это очень дурно, Оня, а что ты палец наколола умышленно, это еще хуже. Надо сейчас же идти в лазарет, попросить Файну Михайловну перевязать руку и приложить какое-нибудь лекарство к больному месту. Слышишь? Извинись же перед Павлой Артемьевной и идем со мною.

Наказанная девочка пролепетала что-то вроде: «Простите, Павла Артемьевна», – и поспешила следом за Еленой Дмитриевной в лазарет.

Глава пятая

– Ну, что ты тут наковыряла? – послышался недовольный голос над головой Дуни. Она со страхом подняла глазенки и встретилась взором с круглыми птичьими глазами Павлы Артемьевны.

– Батюшки-святители! Вот напутала! Сам домовый не разберет!

Энергичные брови надзирательницы сжались на переносице, глаза сердито блеснули.

– Деревенщина, как есть деревенщина! Шва стачать простого не умеет! Неужто не приходилось тебе ничего зашивать? – и брезгливо поджимая губы, Павла Артемьевна выхватила из рук Дуни неумело стаченную по шву тряпочку и разорвала ее снова по шву.

Едва успела она продеть в иглу новую нитку, как сторож с медалями, встретивший нынче Дуню с Микешкой в передней, вышел в зал и сказал, обращаясь к Павле Артемьевне:

– Барышня, к вам братец с женой пожаловали. В комнате ждут. Просят на минутку.

– Ага! Сейчас приду! – сразу оживилась та и, вскочив с места с живостью девочки, зашагала к двери. На пороге она остановилась, погрозила пальцем по адресу всех работниц, больших и маленьких, и произнесла своим резким, неприятным голосом:

– А вы – шить! Слышите? С места не вскакивать и работать до моего прихода. Кто-нибудь из старших присмотрит. Памфилова Женя, ты! С тебя взыщется, если опять шум будет. А я сейчас вернусь. – И скрылась за дверью рабочей комнаты. Вслед за тем произошло нечто совсем неожиданное для Дуни.

Лишь только представительная крупная фигура надзирательницы исчезла за порогом, поднялась необычайная суматоха и шум в рабочей комнате.

И взрослые девушки, и подростки, и маленькие «стрижки», как называли малышей в приюте за их наголо остриженные головенки, все это повскакало со своих мест и окружило Дуню.

Послышались неумолимые вопросы. Откуда она? Из какой губернии? Как зовут? Сирота ли? Есть ли родственники или знакомые в Питере? Платная она или казенка?

Девочка, испуганная, ошалевшая, недоумевающая, не успевала открыть рта, а вопросы все сыпались и сыпались на нее градом. Девушки и дети все теснее и теснее окружали ее.

Больше, впрочем, задавали вопросы стрижки и средние, два младших отделения приюта. Старшие же ограничивались лишь молчаливым разглядыванием Дуни и только изредка перебрасывались замечаниями на ее счет.

– Некрасивая...

– Худящая очень...

– Это с голодовок...

– У них в деревне не больно-то густо насчет еды!

– А глаза – ничего себе.

– Ну, вот еще выдумала! Глаза как глаза...

– Обыкновенные...

– Деревенская она, увалень, видать по всему.

– Обломается еще!

– У горбуны не обломается. Ей бы в средние, к Пашке... Та оборудует живо.

– Что и говорить!

Но вот, растолкав ряды старших воспитанниц, откуда-то вынырнула миниатюрная фигурка стрижки.

– Новенькая! Ты в Москве не была? – задала она вопрос Дуне. И не успела та ответить ей ни да ни нет, как неожиданно чьи-то цепкие руки схватили Дуню за уши и потянули кверху.

– А крикун-волосок где у тебя? Знаешь? – И чья-то быстрая рука ущипнула за шею девочку.

– Ай, – вскрикнула от боли Дуня.

– Ай поехал в Китай. Остался его брат Пай. А брат Пай просил нас: не обижай! – скороговоркой протрещал чей-то задорный детский голосок.

– Полно тебе, Сидорова! Не тронь новенькую! – вступилась беленькая, как снежинка, подросток-девочка лет тринадцати с черными, как коринки, глазами.

– Новенькая! А ты гостинца деревенского с собой не привезла? – зазвенел другой голосок, по другую сторону Дуни. И опять она не успела ответить, потому что третий запищал ей в самое ухо:

– А знаешь ли ты, что ждет тебя здесь, новенькая? – И новый голос умышленно забасил в другое ухо Дуни: – Утром уборка, днем шитье, работа да мутовка, а вечером порка от восьми до девяти.

– Порка! Порка! – захохотали кругом стрижки.

– Да полно вам, полно! – удерживали их старшие. – Нечего зря пугать бедняжку!

Неожиданно прозвенел звонок за дверью и сразу наполнил своими звуками все уголки приюта.

– Динь, динь, динь, динь! – заливался колокольчик.

В ту же минуту большие стенные часы в рабочей отбили двенадцать ударов.

– Обедать, девицы. Обедать! Становитесь в пары. Я за Павлу Артемьевну нынче оставлена. Без разговоров! В столовую попарно. Марш!

И Женя Памфилова, некрасивая рыжеватая девушка, любимица Павлы Артемьевны, подражая надзирательнице, закопала в ладоши.

– Ишь ты, командир какой! – насмешливо кричали Жене старшие, но не решались слушаться ее, однако.

Спешно становились в пары приютки, занимая места. Взрослые впереди, маленькие сзади.

Одна Дуня оставалась стоять около своего стола, не зная, к кому подойти, растерянная и оглушенная всем этим непривычным для нее шумом и суетою.

– Послушай, новенькая! Становись со мною. У меня пары нет. А мы с тобою под рост.

Дуня подняла голову и увидела перед собою крошечную девочку, ростом лет на пять, на шесть, но со старообразным лицом, на котором резко выделялись красные пятна золотухи, а маленькие глазки смотрели как у запуганного зверька из-под белесоватых редких ресниц.

– Меня Олей звать, Оля Чуркова. А тебя? – осведомилась малютка.

– Дуня Прохорова, – ответила Дуня, но так тихо, что ее едва-едва можно было услышать.

В следующую же минуту они, взявшись за руки, встали позади всех парю и зашагали вниз по холодной лестнице, ведущей в столовую приюта.

Глава шестая

Большая, узкая, длинная, похожая на светлый коридор комната, находившаяся в нижнем этаже коричневого здания, выходила своими окнами в сад. Деревья, еще не обездоленные безжалостной рукой осени, стояли в их осеннем желтом и красном уборе, за окнами комнаты. Серое небо глядело в столовую.

– После обеда в сад пойдем! – успела шепнуть маленькая Чуркова Дуне, когда они вошли сюда.

За длинными столами воспитанницы разместились по отделениям. На каждое отделение приходилось по четыре стола. Прежде нежели сесть за столы, все они хором пропели предобеденную молитву.

Дежурные по кухне приютки разнесли миски с горячей похлебкой. В похлебке плавали маленькие кусочки мяса, и Дуня, только разве по большим праздникам лакомившаяся мясными щами у себя в деревне, с жадностью набросилась на еду.

Впрочем, и ее товарки от нее не отставали. Девочек поднимали рано, в половине седьмого утра. В семь часов им давали по кружке горячего чая и по куску ситника. Немудрено поэтому, что к обеденному времени все они чувствовали волчий аппетит.

После первого горячего блюда следовало второе. Жирно сдобренная маслом гречневая каша.

В то время как стрижки, подростки и средние накидываюь на кашу, старшие воспитанницы почти не притрагивались к ней.

– В чем дело? В чем дело? – суетился, волнуясь, толстенький, маленький человечек эконом Павел Семенович Жилинский, перебегая от стола к столу.

– А в том дело, что масло несвежее в каше! – резко ответила одна из более храбрых воспитанниц Таня Шингарева, взглянув в лицо эконома злыми, недовольными глазами.

– Воображение-с! Все одно воображение-с. Видно, голодать не приходилось! – зашипел на нее маленький человечек, кубарем откатываясь к соседнему столу.

– Принцессы какие! Королевы, скажите пожалуйста! Масло им, видите ли, несвежее! Ха, ха!.. – ворчал он, шариком катаясь по столовой. – Небось забыли, что в подвалах-то в детстве не евши днями высиживали. Привередницы! Барышни! Сделай милость! – все больше и больше хорохорился толстяк.

– Вы это о чем? – неожиданно, как бы из-под земли выросшая перед толстеньким человечком, произнесла Павла Артемьевна, появляясь в столовой.

Жилинский так и вскинулся.

– Матушка моя, – завопил он, – что ж это такое, на ваших барышень не угодишь. Вчера была, видите ли, картошка плохая, нынче масло... Не рябчиками же их кормить прикажете! Ах ты, господи!

– Это еще что за новости! Кому масло показалось плохо? Кто бунтует? – так и закипела в свою очередь Павла Артемьевна, в одну минуту очутившись у крайнего стола старшего отделения, где сидела недовольная Таня.

– Татьяна Шингарева? Ты? Опять ты? Вставай и за черный стол марш! – прокричала она над ухом испуганной девочки.

Отдаленный ропот пронесся по рядам старших.

– Не имеете права! Никакого права... У нас своя надзирательница есть. Пусть она и наказывает... Антонина Николаевна пускай разберет, – слышались глухие, сдержанные голоса старших.

– Ага! Бунтовать? Роптать?... Что? Кто недоволен? Пусть выходит. К Екатерине Ивановне марш. Здесь шутки плохи! Сейчас за начальницей схожу и конец! – надрывалась и шумела

Павла Артемьевна, сделавшаяся мгновенно красной, как рак. Ее птичьи глаза прыгали и сверкали. Губы брызгали слюной. Стремительно кинулась она из столовой и в дверях столкнулась с высокой, тоненькой девушкой лет двадцати шести.

Антонина Николаевна Куликова еще сама недавно только окончила педагогические курсы и поступила сюда прямо в старшее отделение приюта. С воспитанницами она обращалась скорее как с подругами, нежели с подчиненными, и, будучи немногим лишь старше их, со всею чуткостью и нежностью молодости блюла интересы приюток.

– В чем дело? – спокойно обратилась она к взволнованной донельзя надзирательнице среднего отделения.

– Полюбуйтесь на ваших сокровищ, милейшая! Хваленая ваша Танечка Шингарева рябчиков пожелала вместо каши с маслом. Вот и бунтуют другим на соблазн! – снова зашипела Павла Артемьевна.

– Сладить невозможно-с на барышень, помилуйте-с, не угодить! – вторил ей эконо́м.

– Масло несвежее? – спокойным тоном, подойдя к столу, за которым сидела Таня, спросила Антонина Николаевна. И, взяв тарелку с кашей у первой попавшейся воспитанницы, попробовала кушанье.

На миг ее некрасивое, умное лицо с маленькими зоркими глазами отразило гримасу отвращения.

– Каша действительно подправлена испорченным, горьким маслом. Дети совершенно правы, – проговорила она тем же спокойным тоном, – надо попросить Екатерину Ивановну дать им к чаю бутерброды с колбасою, а то они голодные останутся нынче.

– Совершенно верно! – подхватила незаметно подошедшая «тетя Леля», как называли маленькие приютки, а за ними и все остальные свою горбатенькую надзирательницу.

Жилинский побагровел. Павла Артемьевна зашла от злости и, ни слова не говоря, помчалась к своему среднему отделению, где состояла в качестве надзирательницы, сочетая эту должность с должностью заведующей рукодельным классом.

Горбатенькая тетя Леля обняла Антонину Николаевну и, что-то оживленно рассказывая ей, увлекла ее в угол столовой. Горбатенькая надзирательница очень любила свою молодую сослуживицу, и они постоянно были вместе, к крайней досаде Павлы Артемьевны, которая терпеть не могла ни той, ни другой.

Точно в каком-то полусне прошел весь остальной день для Дуни. После обеда воспитанницы снова пропели хором молитву и, наскоро встав в пары, вышли из столовой в «одевальную», небольшую комнату, примыкающую к передней, где висели их косынки и пальто. Тут же стояли и неуклюжие кожаные сапоги для гулянья.

Тетя Леля поманила к себе Дуню и помогла ей надеть чье-то чужое пальто.

– Это одной больной воспитанницы, завтра подберем тебе другое по росту, – проговорила она, ласково глядя на девочку.

Большой по-осеннему убранный сад напомнил, хотя и очень отдаленно, любимый лес Дуне. Она пробралась подальше, за густо разросшиеся кусты сирени, теперь уже наполовину пожелтевшие и осыпавшиеся, и, присев на срубленный пень дерева, глубоко задумалась...

Нестерпимо потянуло ее назад, в деревню... Коричневый дом с его садом казались бедной девочке каким-то заколдованным местом, чужим и печальным, откуда нет и не будет возврата ей, Дуне. Мучительно забилось сердечко... Повлекло на волю... В бедную родную избенку, на кладбище к дорогим могилкам, в знакомый милый лес, к коту Игнатке, в ее уютный уголок, на теплую лежанку... Дуня и не заметила, как слезинки одна за другою скатывались по ее заолодевшему личику, как губы помимо воли девочки шептали что-то...

Вдруг неподалеку от себя она услышала заглушенный шепот, тихий смех и взволнованный говор трех-четырех голосов. Девочка чутко насторожилась. Голоса не умолкали. Кто-то

восхищался, захлебываясь от удовольствия, кто-то шептал звонким восторженным детским шепотком:

– Какие они красивенькие! Гляньте-ка-с, девоньки! Вон этот мой, с черными крапинками... У ты мой хо-ло-сый!

– А мой энтот вот! Душенька!

– Матушки мои!.. Ротик разинул! Ах, ты прелестненький!

– А черненький-то, черненький! У-у, красоточки!

– Девоньки! Идет кто-то!

– Старшие никак!

– А вдруг Пашка?

– Помилуй бог! Спуску не даст!

– Тише ты, Канарейкина... Молчи!

Любопытство разобрало Дуню. Она тихонько приподнялась с пня, раздвинула кусты и просунула сквозь них голову.

– Ах! – вырвалось из груди нескольких девочек, окружавших большой, боком опрокинутый на траве ящик.

Девочек было пятеро. Все они были приблизительно Дуниных лет или чуть постарше. Их лица, обращенные к Дуне, выражали самый неподдельный испуг при виде появившейся новенькой.

Потом две из них, повыше ростом, встали перед ящиком, заслоняя его от Дуни.

Взглянув на одну из девочек, Дуня сразу признала в чей темноглазую миловидную Дорушку, помогавшую ей в рабочей.

Но и Дорушка смотрела на нее теперь неуверенно, подозрительно и с самым откровенным испугом. Дуня смутилась. Краска залила ее щеки. Она уже раскаялась в душе, что заглянула сюда. Хотела нырнуть за кусты обратно, но тут чья-то быстрая рука схватила ее за руку.

Дуня взглянула на костлявую девочку повыше и узнала в ней одну из тех, что смеялась над нею нынче.

– Слушай, новенькая, – заговорила костлявая, – ты нас нечаянно накрыла, так уж и не выдавай. Никому не проговори, что здесь видала, а не то мы тебя... знаешь как! – Девочка подняла кулачок и внушительно потрясла им перед лицом Дуни.

– Она не скажет, что ты! – вмешалась Дорушка, и ее карие глазки обласкали Дуню.

– А ты побожись. Побожись, что никому не скажешь. Мы за то дружить с тобою будем.

– Не надо, чтоб божилась. Грешно это, Васса! – проговорила некрасивая смуглая девочка с лицом недетски серьезным и печальным.

– Ну уж ты, Соня, тоже выдумашь, – рассердилась костлявая Васса. – А как выдаст?

– Я не выдам, – поняв, наконец, что от нее требовалось, проговорила Дуня. – Вот те Христос, не выдам! – И истово перекрестилась, глядя на серые осенние небеса.

– Ну, так гляди же. Рука отсохнет, ежели... – тут Васса снова погрозила Дуне своим костлявым пальцем. Потом две девочки отошли от ящика, и Дуня увидела лежавших там в сене крошечных слепых котят.

Они были еще так малы, что даже не мяукали и казались спящими с их малюсенькими носишками, уткнувшимися в солому.

Дуня даже руками всплеснула от неожиданности и, опустившись на колени, умильно, почти с благоговением смотрела на забавных маленьких животных.

А на нее в свою очередь смотрели пять девочек, жадно ловя в лице новенькой получившиеся впечатления. Потом костлявая Васса с птичьим лицом и длинным носом проговорила:

– Это Маруськины дети. Маруська – наша, и дети наши. Мы их нашли вчера в чулане, сюда перенесли, сена в сторожке утащили. Надо бы ваты, да ваты нет. Не приведи господь, ежели Пашка узнает. Мы и от тети Лели скрыли. Не дай бог, найдет их кто, деток наших, в

помойку выкинут, да и нам несдобровать. Вот только мы пятеро и знаем: я – Васса Сидорова, Соня Кузьменко, Дорушка Иванова, Люба Орешкина да Канарейкина Паша. А теперь и ты будешь знать. Побожись еще раз, что не скажешь.

Дуня опять побожилась и еще раз перекрестилась широким деревенским крестом.

– Ну, смотри же!

– Классы скоро начнутся, идтить надо! – проговорила хорошенькая, похожая на восковую куклу Люба Орешкина.

– И то, девоньки! Не хватились бы! – согласилась Дорушка.

– Доктор, доктор приехал! На осмотр, девицы! – прозвенели точно серебряные колокольчики по всему саду свежие молодые голоса.

Вмиг птичье лицо Вассы с длинным носом приняло лукавое выражение.

– Ну, девонька, – обратилась она, гримасничая, к Дуне, – и будет же тебе нынче баня!

– Б-а-ня! – испуганно протянула та.

– Ха-ха-ха! – захохотала Васса. – Спервоначалу доктор Миколай Миколаич тебе палец разрежет, чтобы кровь посмотреть, а окромя того...

– Кровь? – испуганно роняла Дуня.

– А потом оспу привьет! – с торжеством закончила Сидорова.

Дуня дрожала. Глаза ее забегали, как у испуганного зверька.

– Полно пугать, Васса! – вмешалась Дорушка. – Стыдно тебе! Ты всех нас старше, да глупее.

– От глупой слышу, – огрызнулась Васса.

Дорушка пожала плечиками.

– Не бойся, новенькая, – ласково обратилась она к Дуне. – Никто тебе пальца резать не будет. А что оспу, может быть, привьют, так это пустое. Ничуть не больно. Всем прививали. И мне, и Любе, и Орешкиной.

– Мне было больно, – повысила голосок девочка с кукольным лицом.

Дорушка презрительно на нее сощурилась.

– Ну, ты известная неженка. Баронессина любимка. Что и говорить!

– А тебя завидки берут? – нехорошо улыбнулась Люба.

– Я одну тетю Лелю люблю... А баронесса... – начала и не кончила Дорушка.

– К доктору, к Николаю Николаевичу! – где-то уже совсем близко зазвучали голоса.

– Бежим, девоньки! Не то набредут еще на котятков наших, – испуганно прошептала Соня Кузьменко, небольшая девятилетняя девочка с недетски серьезным, скуластым и смуглым личиком и крошечными, как мушки, глазами, та самая, что останавливала от божбы Дуню.

– И то, бежим. До завтра, котики, ребятки наши, – звонко прошептала Дорушка и, схватив за руку Дуню, первая выскочила из кустов...

Глава седьмая

– Аа, новенькая! Фаина Михайловна, давайте-ка нам ее сюда на расправу! – услышала Дуня веселый, сочный, басистый голос, наполнивший сразу все уголки комнаты, куда она вышла вместе с тетей Лелей и тремя-четырьмя девочками младшего отделения. Знакомая уже ей старушка, лазаретная надзирательница, взяла за руку девочку и подвела ее к небольшому столику. За столиком сидел огромный плечистый господин с окладистой бородою с широким русским лицом, румяный, бодрый, с легкой проседью в вьющихся черных волосах. Одет он был в такой же белый халат-передник, как и Фаина Михайловна. В руках у него был какой-то странный инструмент.

Дуня, испуганная одним уже видом этого огромного, басистого человека, заметя странный инструмент в его руке, неожиданно вырвала руку из руки надзирательницы, метнулась в сторону и, забившись в угол комнаты, закричала отчаянным, наполненным страхом и животного ужаса криком:

– Батюшки!.. Светы!.. Угодники! Не дамся резаться! Ой, светики, родненькие, не дамся, ни за что!

– Что с ней? – недоумевающая, произнес здоровяк доктор.

– Испугалась, видно. Вчера из деревни только. Бывает это!.. – отрывисто проговорила изволновавшаяся тетя Леля. – Вы уж, Николай Николаевич, поосторожнее с нею, – тихо и смущенно заключила горбунья.

– Да, что вы, матушка Елена Дмитриевна, да когда же это я живодером был?

И доктор Николай Николаевич Зарубов раскатился здоровым сочным басистым смехом, от которого заколыхалось во все стороны его огромное туловище.

– Дуня... Дуняша... Успокойся, девочка моя! – зашептала горбунья, обвивая обеими руками худенькие плечи голосившей девочки.

Богатырь доктор посмотрел на эту группу добродушно-насмешливым взором, потом прищурил один глаз, прищелкнул языком и, скроив уморительную гримасу, крикнул толпившимся перед его столиком девочкам:

– Ну, курносенькие, говори... Которая с какою немощью притащилась нынче?

– У меня палец болит. Наколола ненароком. – И румяная, мордастенькая, не в пример прочим худым по большей части и изжелта-бледным приюткам, Оня Лихарева выдвинулась вперед.

Доктор ласково взглянул на девочку.

– У-у, бесстыдница, – притворно ворчливо затянул он. – Небось нарочно наколола, чтобы в рукодельном классе не шить? А?

– Что вы, Миколай Миколаич! – вся вспыхнув, проговорила Оня. – Да ей-богу же...

– Ой, курносенькая, не божись! Язык врет, а глаза правду-матку режут. Не бери, курносенькая, на душу греха. Правду говори!

Большие руки доктора упали на плечи шалуньи. Серые навывкате глаза впились в нее зорким пронзительным взглядом.

– А ну-ка, отрежь мне правду, курносенькая! Ненароком, что ли, наколола? Говори!

Темные глазки Лихаревой забегали, как пойманные в мышеловку мышки. Ярче вспыхнули и без того румяные щеки девочки.

– Я... я... – залепетала чуть не плача шалунья, – я... я... нарочно наколола. Только «самой» не говорите, ради господина, Миколай Миколаевич, – тихо, чуть слышно прошептала она.

– Вот люблю Оню за правду! – загремел веселый, сочный бас доктора. – На тебе за это, получай! – И запустив руку в огромный карман своего фартука-халата, он извлек оттуда пару

карамелек и подал их просиявшей девочке. Затем осмотрев палец, он приложил к нему, предварительно промыв уколотый сустав, какую-то примочку и, забинтовав руку, отпустил девочку.

Потом принялся за других больных воспитанниц. Одни из них жаловались на головную боль, другие на живот, иные на кашель... Всех тщательно выслушал, выстукал внимательно осмотрел доктор и прописал каждой лекарство. В толпе подруг – воспитанниц среднего отделения стояла беленькая, четырнадцатилетняя Феня Клементьева, изящная и нежная, как барышня.

– Ты что? Что у тебя болит, курносенькая? – обратился к ней доктор. – Небось от урока удрала? Закона Божия у вас нынче, урок? – пошутил он.

Феня вспыхнула, опустила глазки и передернула худенькими плечиками.

– Напрасно вы это, Николай Николаевич, – протянула она с ужимочкой.

– А вот увидим, покажи-ка язык!

Феня покраснела пуще и, плотно закусила мелкими, как у мышонка, зубками верхнюю губу.

– Покажи же язык, курносенькая! – уже нетерпеливее приказал доктор.

Феня, пунцовая, потупилась и не решалась высунуть языка.

– Федосья! Тебе говорят! – прикрикнула на нее Фаина Михайловна.

– Не могу! – простонала Феня. – Не могу я, хоть убейте! Не могу!

– Да отчего же? – живо заинтересовался здоровяк доктор. Молчание было ему ответом.

– Феня?!

Новое молчание...

– Что с нею, кто знает? Курносенькие, говори!

Николай Николаевич удивленными глазами обвел толпившихся вокруг него девочек.

Подошла Елена Дмитриевна...

Ее лицо было строго. Глаза сурово обратились к Фене.

– Клементьева, не дури! Что за глупости! Нужно же Николаю Николаевичу узнать по языку о твоём здоровье...

– Ни за что... Не могу... Язык... Не могу... Хоть убейте меня, не покажу ни за что. – И слезы хлынули внезапно из хорошеньких глазок Фени. Быстрым движением закрыла она лицо пердником и пулей вылетела из лазаретной.

– Ничего не понимаю, хоть зарежьте! – комически развел руками доктор.

– Глупая девочка! Истеричка какая-то! Все романы тишком читает, на днях ее поймала, – желчно заговорила горбунья, и длинное лицо ее и прекрасные лучистые глаза приняли сердитое, неприятное выражение.

– А все-таки неспроста это. Ее лечить надо. А чтобы лечить, надо причину знать, от чего лечить, – произнес раздумчиво богатырь-доктор. – А ну-ка, курносенькие, кто мне возьмется разъяснить, что с ней? – совершенно иным тоном обратился он к смущенно поглядывавшим на него воспитанницам-подросткам.

– А я знаю! – краснея до ушей, выступила вперед рябая, некрасивая девочка лет четырнадцати.

– Шура Огурцова? Что же ты знаешь? Скажи.

– Знаю, что Феня вас обожает, что вы ейный предмет, Николай Николаевич. А язык предмету в жизнь свою показывать нельзя. Срам это! – бойко отрапортовала девочка.

– Что?

Доктор остолбенел. Елена Дмитриевна вспыхнула.

– О-о, глупые девочки! – не то сердито, не то жалостливо проговорила она, и болезненная судорога повела ее лицо с пылающими на нем сейчас пятнами взволнованного румянца.

И она, наскоро удалив воспитанниц, стала объяснять доктору про глупую, ни на чем не основанную манеру приюток «обожать» старших и сверстниц, начальство, учителей, надзирательниц, попечителей и, наконец, друг друга.

– Конечно, и обвинять их нельзя за это, бедных ребяток, – проговорила она своим чистым, совсем молодым, нежным голосом, так дисгармонировавшим с ее некрасивой, старообразной внешностью калеки, – бедные дети, сироты, сами лишенные ласки с детства, имеют инстинктивную потребность перенести накопившуюся в них нежную привязанность к кому бы то ни было, до самозабвения. Но это стремление, эта потребность, благодаря неправильному доприютскому воспитанию, часто извратившему фантазию ребенка, принимает уродливую форму в выражении любви романтического характера, в обожании учителей, административного персонала, старших подруг, друг друга... Я борюсь с этим, как могу, борются и мои коллеги, но...

Елена Дмитриевна не докончила начатой фразы.

Прятавшаяся до сих пор в углу Дуня неожиданно чихнула и этим обратила внимание присутствующих на себя.

Николай Николаевич улыбнулся ей ласково и кивнул головой.

– А ну-ка, курносенькая, подойди! Видишь небось сама, что я не кусаюсь, подруг твоих, что были здесь, не обидел и тебя, даст господь, не съем...

И вынув из кармана карамельку, он издали протянул ее Дуне.

Ласковое лицо доктора, его добрый голос, а главное, леденец, протянутый ей, возымели свое действие, и Дуня робко вылезла из своего угла и подошла к врачу.

Тот тщательно выслушал ей грудь, сердце. Осмотрел горло, глаза, причем страшный предмет, испугавший на первых порах девочку и оказавшийся докторской трубкой для выслушивания, теперь уже не страшил ее. Покончив с освидетельствованием новенькой, Николай Николаевич сказал:

– Субъект здоровый на редкость. За эту ручаюсь. Ни истерии, ни «обожаний» у нее не будет. Крепкий продукт деревни. Дай-то нам бог побольше таких ребят.

И поцеловав смущенную малютку, он пожал руки обеим надзирательницам и уехал из приюта, пообещав быть завтра, сказав, что в прививке оспы пока что новенькая не нуждается.

Глава восьмая

Короткий осенний день клонится к вечеру.

В классных приюта зажжены лампы. В старшем отделении педагогичка-воспитательница Антонина Николаевна Куликова дает урок русского языка.

В среднем отделении приютский батюшка отец Модест, еще молодой, худощавый человек с лицом аскета и строгими пытливыми глазами, рассказывает историю выхода иудеев из Египта.

В младшем отделении горбатенькая надзирательница рисует на доске печатные буквы и заставляет девочек хором их называть.

– Это «а...», «а», а вот «б». Повторите.

И девочки хором повторяют нараспев:

– А... б...

Дуня с изумлением оглядывает непривычную ей обстановку.

В большой классной комнате до двадцати парт. Темные деревянные столики с покатыми крышками, к ним приделаны скамейки. На каждой скамье помещается по две девочки. Подле Дуни сидит Дорушка... Через небольшой промежуток (скамейки поставлены двумя рядами в классной, образуя посередине проход) – костлявая Васса, рядом с ней хорошенькая Любочка Орешкина. Направо виднеется золотушное личико Оли Чурковой.

Все здесь поражает несказанно Дуню. И черные доски, на которых можно писать кусочками мела, и покатые пюпитры, и чернильницы, вделанные, словно вросшие в них.

– В... Г... – выписывает тетя Леля.

– В... Г... – повторяют дружным хором малютки-стрижки.

Белые буквы рябят в глазах Дуни. Устало клонится наполненная самыми разнородными впечатлениями головка ребенка...

Двенадцатичасовой переезд на «чугунке»... Новые лица... Тетя Леля... Доктор... Сад... Плачущая Феничка... Котята... И эти буквы, белые, как молоко, на черном поле доски...

– Не спи, не спи! Слышь?.. В четыре чай пить будем! – последней сознательной фразой звенит в ее ушах знакомый уже Дуне Дорушкин голосок, и, измученная вконец, она падает головой на пюпитр.

* * *

Снова столовая... После двух часов с десятью минутами перерыва занятий «научными предметами», то есть уроками Закона Божия, грамотой, и арифметикой, воспитанниц ведут пить чай.

Та же мутная жидкость в кружках и куски полубелого хлеба расставлены и разложены на столах. Проголодавшаяся Дуня с жадностью уничтожает полученную порцию и аппетитный бутерброд с колбасой, исходатайствованный у начальницы Антониной Николаевной после неудачного масла за обедом.

После чая до пяти часов дети свободны. В пять урок пения.

Маленький, худенький, желчного вида человечек с козлиной бородкой ждал их уже в зале, просторной, почти пустой комнате с деревянными скамейками вдоль стен, с портретом Государя Императора на стене и с целым рядом поясных фотографий учредителей и попечителей приюта. В одном углу залы стоит большой образ с теплющейся перед ним лампадой, изображение Христа Спасителя, благословляющего детей. В другом небольшое пианино.

Онуфрий Анисимович Богоявленский едва кивает головой на приветствие воспитанниц и бросается с такой стремительностью к инструменту, что старшие не выдерживают и фыркают от смеха.

Учитель пения из семинаристов, болезненный, раздражительный, из неудавшихся священников, предназначавший себя к духовной деятельности и вышедший из семинарии за какую-то провинность, зол за свою исковерканную жизнь на весь мир. Приют он считает за своих личных врагов, и нет дня, чтобы он жестоко не накричал на ту или другую из воспитанниц.

Главным образом, после шитья здесь в приюте требуется церковное пение. Каждый праздник и канун его, все посты, все службы воспитанницы N-ского приюта поют в соседней богаделенской церкви на обоих клиросах. За это они получают довольно щедрое вознаграждение. Деньги эти вместе с вырученными от продажи по белошвейной, вышивальной и метельной работам идут на поддержку и благосостояние приюта. Хотя общество благотворителей, основавших приют, и заботится всячески о его существовании, помогая постоянными взносами и пожертвованиями, но расходы сильно превышают доставляемые благотворителями суммы, и самим воспитанницам приюта приходится усиленным заработком, рукоделием и участием в церковном хоре вносить посильную лепту в содержание своего заведения. К тому же своекоштных воспитанниц здесь очень мало. Каких-нибудь полсотни, а то и меньше. Остальную часть приходится кормить и одевать из благотворительных и заработанных ими самими сумм.

Онуфрий Ефимович, или Фимочка, как его прозвали два старших отделения приюта, сразу заметил Дуню.

– Новенькая? – ткнув пальцем по направлению девочки, кратко осведомился он.

– Новенькая, Онуфрий Ефимович! – хором отвечали воспитанницы.

– Подойди сюда! – поманил он Дуню, усаживаясь на круглом табурете перед пианино.

Девочка нерешительно приблизилась.

– Тяни за мною!

Учитель ударил пальцем с размаху по клавише. Получился жалобный, протяжный звук.

Так же жалобно протянул голосом и Богоявленский.

– До-о-о-о...

Дуня испуганно вскинула на него глазами и, пятась назад, молчала...

– Что же ты, пой! – раздраженно крикнул учитель.

Девочка еще испуганнее шарахнулась в сторону...

– Вот глупая! Чего боится! Никто тебя не тронет! – крикнул снова учитель. – Поди сюда!

Но, вся дрожа, Дуня не трогалась с места. Старшие громко перешептывались на ее счет, средние и младшие вытягивали любопытные рожицы и тарасили глаза на новенькую.

– Поди сюда! Поди сюда! – завопил внезапно обозлившийся учитель, срываясь с места.

Ужас обуял Дуню. Она метнулась в сторону, забежала за рояль и, испуганно выпучив голубые глазенки, вся трясясь, как лист, уставилась оттуда на Богоявленского.

– Ага! Ты что же это? Шутить со мною вздумала! – приходя неожиданно в бешенство, закричал Фимочка и снова рванулся за девочкой.

Не помня себя, Дуня бросилась улететь от него, не чуя ног под собою. Красный как морковь, Фимочка метнулся за нею.

Они описали круг, другой, обежав рояль, Дуня впереди, Богоявленский сзади...

Старшие, уже не стесняясь, фыркали и хихикали, закрывая рот руками. Средние следовали их примеру. Младшие любопытными глазенками следили за учителем и новенькой, с ужасом поджидая, что будет.

– Да стой же! Тебе говорят стой! Вот-то глупая! – задыхаясь, кричал Богоявленский, преследуя Дуню.

К счастью, растворилась дверь залы и на пороге ее показалась горбунья.

– Что такое? Зачем вы пугаете девочку? – сдвинув брови и сверкнув глазами, накинулась на учителя Елена Дмитриевна.

Дуня со всего размаха уткнулась ей в колени и истеричным голосом зарыдала на весь зал.

– Тетенька, спаси! Тетенька! – высокими пронзительными нотами кричала она, обхватывая ручонками колени надзирательницы и продолжая трястись от страха.

– Ну и голосок, – сделал гримасу Богоявленский, – нечего было и добиваться «ноты» у этой зарезанной курицы. Хорошенький голосок – нечего сказать!

– Вы бы лучше толком объяснили девочке, что от нее требуется, нежели так пугать, – укоризненно произнесла тетя Леля и, обняв Дуню, повела ее в рабочую.

Там сидело несколько «безголосых», то есть не имевших настолько голоса, чтобы петь в хоре, воспитанниц.

К своему удовольствию, Дуня увидела в их числе и Дорушку.

Девочка прилаживала платье из цветных лоскутков на тряпичной кукле, лицо которой было довольно-таки искусно разрисовано красками.

– Займи новенькую, Дорушка, – приказала тетя Леля девочке, а сама отправилась снова в залу.

Дорушка ласково обняла Дуню.

– Хочешь играть со мной? Я буду куклина мама, ты няня, а это (тут она любовно прижала к себе куклу) – маленькая Дорушка, моя дочка?

Та молча кивнула головой, и девочки увлеклись игрою. Из залы до них доносились мотивы церковного пения. Здесь в рабочей шумели маленькие и о чем-то с увлечением шушукались средние и старшие воспитанницы.

Но Дуня и Дорушка ничего не замечали, что происходило кругом.

Играя, Дорушка как бы от имени куклы-дочери расспрашивала няню-Дуню о деревне.

Дуня, дичившаяся сначала, теперь разговорилась, увлекшись воспоминаниями: и про тятку-покойника, и про бабушку Маремьяну, и про лес, и про цветники в лесу. Особенно про лес...

Дорушка, раскрыв ротик, слушала ее с расширенными от удивления глазами.

Дорушка была кухаркина дочка. Пока она была маленькой, то жила за кухней в комнатке матери и с утра до ночи играла тряпичными куколками. А то выходила на двор погулять, порезвиться с дворовыми ребятами. На дворе ни дерева, ни садика, одни помойки да конюшня. А тут вдруг и лес, поле в Дуниных рассказах, и кладбище. Занятно!

Щечки разгорелись у обеих девочек. Глаза заблестели. Они и не заметили, как пробежало время до ужина.

Ровно в семь раздался звонок. Появилась тетя Леля. Засуетились девочки. Стали спешно строиться в пары. Распахнулась дверь из залы, и ватага «певчих» воспитанниц высыпала в рабочую.

– Ужинать! ужинать! – крикнула горбатенькая надзирательница.

В столовой глаза Дуни слипались, точно в них песком насыпало. Сквозь непреодолимую дремоту слышала девочка, как пропели хором вечерние молитвы, видела, как в тумане, беспокойно снующую фигуру эконома, перелетавшего как на крыльях с одного конца столовой на другой.

Кто-то невидимый наложил ей на тарелку горячей каши, сдобренной маслом... Она машинально ела, изнемогая от усталости, пока ложка не выпала у нее из рук, а стриженная головка не упала на стол, больно ударившись о его деревянную доску.

– С шишечкой честь имею поздравить! – засмеялась костлявая Васса, сидевшая поблизости Дуни.

– Молчи. Зачем смеяться? Нешто она виновата, что уморилась... – прозвенел ласковый голосок Дорушки, и стрижки прокричали хором:

– Тетя Леля! Тетя Леля! Новенькая уморилась. Походя спит!

Что было потом, Дуня помнит плохо.

Две худенькие жилистые руки горбуньи подхватили ее и повели куда-то.

Куда? Она сознавала мало...

Как в тумане мелькнула лестница... Не то коридорчик, не то комната с медным желобом, прикрепленным к стене, с такими же медными кранами над ним, вделанными в стену... Дверь... И снова комната, длинная, с десятками четырьмя кроватей, поставленных изголовьем к изголовью, в два ряда.

Все кровати одинаково застланы жидкими нанковыми одеялами с крепкими подушками в головах, в грубых холщовых наволочках.

– Раздевайся скорее и ложись... Уж бог с тобою, мыться не надо. Глаза не смотрят, вижу, – произнесла Елена Дмитриевна и, собственноручно раздев сморившуюся Дуню, уложила девочку в постель.

Эта постель показалась чем-то сказочным для деревенского ребенка. У бабушки Маремьяны спала она на жесткой лавке, застланной каким-либо старым тряпьем, и прикрытая одеждой. Здесь же был и матрац, и одеяло. Маленькое тельце с наслаждением вытянулось на кровати.

– Спи! Христос с тобой! – проговорила горбунья и, перекрестив Дуню, быстро нагнулась и поцеловала стриженую головку в лоб.

Но Дуня уже не слышала и не чувствовала ничего.

Она крепко заснула в одну минуту.

Глава девятая

Ненастное осеннее утро... Снег падает большими мокрыми хлопьями и тает на лету, не достигая земли.

– Динь! Динь! Динь! Динь! – звенит заливаясь колокольчик.

Тоненькая фигурка дежурной по приюту воспитанницы мелькает по коридору, проскальзывает в дортуары, не переставая звонить убийственно нудным, нестерпимо резким звоном, заходит в спальни. Дежурит нынче Липа Сальникова, воспитанница среднего отделения.

У нее тупое, скуластое, некрасивое лицо, толстые вывороченные губы и заспанные сердитые глаза.

Разбудив старших, она перебегает в свою спальню, где ночуют средние, ее однокашницы.

– Вставать, девицы, вставать! – бойко покрикивает она, останавливаясь на пороге.

Потом спешит в «младший» дортуар, к стрижкам.

– Стрижки, вставать! – разносится ее голос по комнате. – Нечего-нечего лентяйничать, на уборку опоздаете, того и гляди. Живо у меня, не то водой окачу.

Маленькие, круглые, как шарики, головенки быстро отрываются от подушек... За ними и сами обладательницы «шариков» соскакивают с постелей.

Дети знают отлично, что с дежурными шутки плохи. Либо одеяло сдернет, либо еще хуже – обольет водою. А в дортуаре холодно и без того! Так выстудило за ночь...

Липа торопливой походкой устремляется на середину комнаты. Там, задернутая темным абажуром, чуть мерцает всякая лампа-ночник.

В одну минуту выдвинут табурет проворной рукой на середину комнаты. Липа вскакивает на него, прибавляет в лампе огня, повернув светильню, потом снимает абажур...

В дортуаре сразу становится светлее. Теперь ясно видно, кто из девчонок не встал и лежа прохлаждается в кроватях.

– Вставать! Вставать! – громким голосом кричит Липа и срывает мимоходом два-три одеяла с заспавшихся малышей.

– Ай! Ай! Оставь! Липочка! Родненькая! Миленькая! Золотенькая! – молит жалобный голосок. – Хо-о-ло-одно, Ли-и-па-а! – Но Сальникова в ответ торжествуя смеется.

– А холодно, так вставай! Чуркова! Ты это что же, дряннушка этакая! До молитвы лежать будешь? – и Липа, стремительно схватив с предпостельного столика кружку, бежит с нею в умывальную. Через минуту она возвращается, сияя той же торжествующей недоброй улыбкой.

– Ты не слушаться? Так на же тебе! – и все содержимое в кружке целиком выливается на малютку Олю.

Липа неистово хохочет. Оля, мокрая, дрожащая в залитой сверху донизу рубашонке, вскакивает с постели, испуганными глазенками впивается в свою мучительницу.

Она хочет сказать что-то и не может. Заикается, путается и, лязгая зубами, дрожит.

– Ну двигайся! Что ровно истукан стоишь? На молитву опоздаешь! – резко прикрикивает Липа.

– А ты не смей Олю обижать. Она у нас слабенькая, того и гляди заболит! – выскакивая вперед, крикнула Дорушка.

– Не смей! Не смей! Что за командирша такая! – запищали и другие стрижки, окружая внезапно тесным кольцом Липу.

– Ах, вы, такие-сякие малыши! Грозить еще вздумали! – захорохорилась Липа.

– А ты не смей! – наседали на нее девочки.

– Ах, сделай милость, испугалась, сейчас заплачу! – насмешничала Липа.

– А вот и испугалась! Небось нас сорок, а ты одна! – крикнула внезапно словно из-под земли выросшая Васса. – Небось попадет тебе!

– Попадет! Попадет за Олю! – защищали стрижки.

– Цыц, молчать! Не то няньку Варвару крикну! – пригрозила Липа.

Няньке Варваре, спавшей обыкновенно в спальне малышей в углу, у печки, вменялось в обязанность присматривать за стрижками и помогать горбатенькой Елене Дмитриевне в уходе за малышами. Сейчас нянька как раз отсутствовала, на несчастье Липы. Окинув быстрым взором спальню, девочки убедились в этом.

Липа Сальникова растерялась немного... Прямо на нее лезла Васса, сжимая в кулачки свои костлявые ручонки десятилетки. Красная от гнева Оня Лихарева, обычная заступница болезненной Чурковой, грозила ей из-за плеч Вассы.

Любочка Орешникова кричала в уши:

– Злая Липа, злющая! Бесстыдница, ишь, что выдумала – маленьких обижать! Тете Леле скажем!

Липа Сальникова разом взвесила свое положение. Приходилось плохо. Надо было идти на мировую со всей этой мелюзгой. Быстро сунув руку в карман. Липа вынула оттуда залежавшийся пыльный кусок сахара и, протягивая его плачущей Оле, произнесла, смягчая свой резкий голос:

– Ну, ладно, ладно! Будет! Ладно уж, поревела и будет! На сахарцу. Эка невидаль, подумаешь! Душ заставили принять ненароком. Не зима еще... Не помрешь. А вот, девоньки, послушайте меня, что я вам скажу-то! Цыганка у нас объявилась. Гадальщица. Слышите? Так твою судьбу тебе расскажет, что любо-дорого. Что с каким человеком через год будет, все увидишь. Приходите нынче вечером в наш средний дортуар. Гадалку вам покажем, – тараторила Липа, и глаза ее лукаво поблескивали на скуластом лице.

– Я боюсь! – пропищала Оля Чуркова с не выпавшими еще глазами сосавшая сахар.

– А я приду! – смело крикнула Васса. – Кто со мной?

– Я! – отозвалась Оня Лихарева.

– И я! – взвизгнула Канарейкина.

– Уж и я, так и быть! – и девятилетняя Алексаша Кудрина вынырнула из-за подруг.

– А кто гадает-то? – с любопытством осведомилась Любочка Орешкина.

– Ишь ты, так тебе и скажи! – усмехнулась Липа. – Придешь – увидишь! Приходи только! Настоящая цыганка, говорят тебе!

– Липочка-душенька, скажи, скажи – кто? – пристали со всех сторон к подростку Сальниковой малыши-стрижки. – Гадалку позови, Липа!

– Ладно, подождете, скороспелки. Будете много знать, скоро состаритесь, – хохотала большая девочка и, не переставая смеяться, выбежала из дортуара.

– Я пойду уже вечером, погляжу на гадалку! – решительно заявила Оня, всегда прежде своих сверстниц отзывавшаяся на всякие шалости.

– И мы, и мы! – запищали другие.

– Нет уж, сидите дома. Мы с Вассой идем, с Любочкой, да Алексашу прихватим, кто постарше. А вы дома с нянькой Варварой останетесь, – с важностью говорила Оня.

В младшем отделении, как и в старшем, и в среднем, были дети разного возраста. Принимали сюда девочек от восьми до одиннадцати лет. С одиннадцати до пятнадцати воспитанницы составляли второе среднее отделение, и с пятнадцати до восемнадцати – старшее выпускное. Среди стрижек поэтому были совсем еще несмышленные малютки-восьмилетки и девятилетние и десятилетние девочки вроде Любочки Орешниковой, Дорушки Ивановой, Вассы, Они и Сони Кузьменко.

Долго спорили и препирались стрижки, кому идти к гадалке в «среднее» в гости, и сойдет ли «поход» благополучно, тайно от тети Лели, которая строго запретила сходить своим малышам со средними и старшими воспитанницами.

Внезапно раздавшийся звонок к молитве прервал волнение малюток. Из соседней комнаты появилась знакомая горбатенькая фигура, и тетя Леля, хлопая в ладоши, стала сзывать свое маленькое стадо обычным призывом:

– В пары, дети, в пары!

Начинался однотонный, серый, приютский день.

Глава десятая

От восьми до девяти вся внутренность коричневого дома как бы выворачивалась наизнанку. Трудно узнать приют в этот утренний час.

Всюду моют, скребут, натирают, метут, снимают в углах паутину... Старшие и средние носят тяжелые ведра с водой, моют полы, двери, окна или тщательно оттирают медные заслонки у печей, дверные ручки и оконные задвижки.

Малыши помогают по мере сил и возможности средним и старшим.

В грязных, грубых, холщовых передниках, с покрасневшими лицами девушки и дети с одинаковым усердием работают на уборке.

Вон пробежала беленькая, хрупкая и изящная Феничка Клементьева с полным до краев ведром мыльной воды... Та самая Феничка, что часто, сидя в уголку, читает потихоньку чудом попавшие ей в руки романы и обожающая богатыря-доктора Николая Николаевича.

Сейчас Феничку узнать нельзя. Вместе с Шурой Огурцовой, своей подружкой, она льет воду на доски коридора и начинает энергично водить по полу шваброй, обвязанной тряпкой на конце.

– Маленькие! Стрижки! – кричат взапуски Феничка и Шура. – Тащите сюда мыла. Нянька Варвара даст...

Дорушка и Дуня, находившиеся поблизости, устремляются по поручению средних. И через минуту несутся обратно, таща вдвоем большой кусок серого мыла, добытый у няньки.

Вот уже месяц, как живет в приюте Дуня.

Трудно поверить, что это та самая маленькая деревенская девочка, которую четыре недели тому назад доставил в приют Микешка.

Личико Дуни вытянулось, заострилось. Здоровый деревенский загар почти исчез с него. Глаза стали больше, острее. Осмысленнее, сосредоточеннее глядят они теперь на божий мир. Многому уже научилась в приюте Дуня.

Умеет она узнавать буквы русского алфавита; умеет выводить склады. И шов стачать умеет и сшить, что понадобится «вперед иголку», и песенкам кой-каким научилась, хотя и не участвует в церковном хоре, потому что сердитый Фимочка решительно заявил, что у новенькой не голос, а «козлетон».

Впрочем, в хоре стрижки участвовали лишь на «подтяжку». Серьезного пения от них не требовалось, для этого они были еще слишком малы.

Все меньше и меньше тоскует по деревне Дуня... Уходят от нее куда-то далеко и лес, и избышка, и кладбище с материнской могилкой... Другая жизнь, другие люди, другие настроения овладевают девочкой...

А тут еще Дорушка Иванова скрашивает ее жизнь, да тетя Леля, добрая горбунья, всячески ласкает сиротку.

Тетю Лелю Дуня любит, как родную. Бабушку Маремьяну она так не любила никогда. Разве отца, да лес, да лесные цветочки. От одного ласкового голоса тети Лели сладко вздрагивает и замирает сердечко Дуни... Не видит, не замечает она уродства Елены Дмитриевны, красавицей кажется ей надзирательница-калека.

И к Дорушке привязалась девочка за этот месяц, как к любимой сестричке.

Совсем особенная эта Дорушка, таких еще и не видала детей Дуня.

Всегда спокойная, ровная, одинаковая со всеми. А уж такая добрая, что и сказать нельзя... Чуть от кого-нибудь перепадет конфетка ли, пастилка или просто кусок сахару Дорушке, ни на минуту не задумываясь, разделит его на массу мелких кусочков девочка и раздаст подружкам, кто поближе стоит. А то и себя забудет, отдаст и свой кусочек.

И никто, кроме Дорушки, не сумеет примирить ссорящихся девочек, заступиться за обиженную, пристыдить обидчицу. Зато она – общая любимица. Даже завистливая Васса и задорная Оня Лихарева никогда не «насакивают» на Дорушку... И хитрая, лукавая, любящая сунуть во все свою лисью мордочку девятилетняя Паша Канарейкина и та, задевая других, не рискует затронуть Дорушку.

Под крылышком Дорушки Ивановой легче живется Дуне. За нее заступается Дорушка, не дает и в обиду.

Темно-карие веселые и приветливые глазки Дорушки ни на минуту не выпускают из виду Дуню.

И сейчас, участвуя в уборке, девочки находятся неотлучно одна подле другой.

Вытирая мокрой тряпкой пыль с перил лестницы, Дорушка – впереди, позади нее Дуня с сухой тряпкой; девочки спускаются по ступеням, переговариваясь между собой тихим шепотом.

Почти спустившись на нижнюю площадку лестницы, они увидели бегущую к ним рыженькую старшеотделенку Женю Памфилову, любимицу Пашки.

– Девоньки миленькие, стриженьки, голубоньки! – лепечет возбужденная и красная, как рак, Женя. – Мне к баронессину рождению подушку гладью кончать надо, спешить, каждый час дорог, а нынче особенно... Ведь завтра-то рождение – отсылать надо... А тут Павлы Артемьевнина комната не убрана. Дорушка Иванова, либо ты, Дуняша Прохорова, уберите кто-нибудь! Ради господ, за меня! – И голос обычно грубоватой, любившей покомандовать Жени зазвучал непривычными ему мягкими нотами. Дорушка и Дуня испуганно переглянулись.

Сварливую, требовательную и необычайно строгую Павлу Артемьевну приютки большие и маленькие боялись пуще огня. Она не умела прощать. Малейшая детская провинность воспитанницы в глазах Павлы Артемьевны принимала размеры чуть ли не настоящего преступления. И виновную постигала строгая кара.

Имея в своем распоряжении среднее отделение приюта, Павла Артемьевна не ограничивалась, однако, своей воспитательной ролью среди вверенных ее наблюдению подростков. Пользуясь своими правами рукодельной наставницы, она то и дело вмешивалась в дела старшего и младшего отделения. Постоянные недоразумения на этой почве с доброй и мягкой тетей Лелей или сдержанной, вдумчивой Антониной Николаевной отнюдь не умеряли воспитательный пыл Павлы Артемьевны.

На все увещания обеих надзирательниц она неизменно отвечала одно и то же:

– Ах, оставьте меня действовать по собственному усмотрению! Ведь через два-три года ваши девчонки, Елена Дмитриевна, перейдут ко мне. Должна же я наблюдать за ними исподволь, чтобы ознакомиться с индивидуальностью каждой из них!

И Павла Артемьевна «знакомилась...». Своим ястребиным оком она следила неустанно за каждой «стрижкой», преследуя детей всюду, где только могла. Как это ни странно, но доставалось от Павлы Артемьевны больше всего или чересчур тихим, или не в меру бойким девочкам. Одобряла же она сонных, апатичных воспитанниц да хороших рукодельниц. Не любила живых и веселых вроде Они Лихаревой и Любы Орешкиной. Не выносила тихонькую Дуню и болезненную, слабенькую Олю Чуркову.

Дуню Павла Артемьевна невлюбила более всех. Клички: «деревенщина», «облом», «тюря», «мужичка сиволапая» обильно сыпались на девочку во время рукодельного класса.

К довершению несчастья Дуня шила из рук вон плохо, еще хуже вязала и совсем не умела вышивать.

Ее руки, непривычные к такой работе, делались как деревянные в тяжелый для девочки класс рукоделий.

Как могла, помогала своей подружке Дорушка, мастерица и рукодельница на все руки. Несмотря на свои девять лет, маленькая Иванова шила и вышивала гладью не хуже другой стар-

шеотделенки, возбуждая восторг и зависть воспитанниц. За искусство Дорушки Павла Артемьевна прощала многое и Дуне, как ближайшей ее подруге. Но Дуня не могла не чувствовать глубоко затаенной к ее маленькой особе неприязни со стороны ее врага.

И сейчас, услыша просьбу Жени Памфиловой, она вздрогнула от одной возможности убрать комнату «страшной» средней надзирательницы.

Рыжая Женя выжидательно глянула на обеих подруг.

– Ну? – нетерпеливо проронили ее пухлые губы.

Дорушка и Дуня переглянулись снова.

– Чего глаза тарашите, – вдруг сразу разошлась Женя, – или, дурочки, не знаете, что я вам честь делаю, предлагая убрать комнату самой Павлы Артемьевны? Чувствуйте!

Голос Жени зазвенел привычными ему «командирскими» нотами. Веснушчатое лицо приняло гневное выражение.

– Ну же, малыши! Будете вы слушаться или нет?

Бойкие карие глазки Дорушки испуганно вскинулись на грозную старшеотделенку.

– Мы... мы...

– Ну замычала, что твоя корова! – расхохоталась Женя. – Эх, дура я, дура, стала еще с вами канителиться! Попросту, без разговора, надо было приказать! Живо у меня брать ведро, тряпку и к Павле Артемьевне марш! Так-то лучше!

И с разом изменившимся лицом, без малейшего уже признака смеха. Женя Памфилова топнула ногой и, сверкнув маленькими глазками, схватила за плечи сначала Дорушку, потом Дуню и с силой подтолкнула обеих...

– Ступайте-ступайте, нечего прохлаждаться зря! Скоро к рукодельным часам зазвонят, управляйтесь поживее, не то нагорит и от Павлы Артемьевны, и от меня получите на орехи! – крикнула она вдогонку подругам и, живо повернувшись, устремила в рабочую, где ее ждала почти оконченная, гладью вышитая нарядная подушка, завтрашнее подношение попечительнице приюта.

Глава одиннадцатая

Какая красивая комната!

Обе девочки попали сюда впервые. По странному капризу Павлы Артемьевны ее «квартиру», как назывались крошечные помещения надзирательниц на языке приюток, убирала любимица Пашки Женя Памфилова. Стрижкам никогда не приходилось заглядывать сюда. Вот почему широко раскрытыми, блестящими любопытством и восхищением глазами Дорушка и Дуня впились в непривычную для них обстановку.

Зеленый пушистый ковер, похожий на травку весной, покрывал больше трети комнаты. Мягкая оливкового цвета мебель, широкое зеркало в простенке двух окон, скрытых под белыми тюлевыми занавесками, туалет из зеленого крепона с плюшем, за красиво расписанными по молочному фону ширмами кровать, похожая на большого сверкающего лебедя своей нежной белизной... Еще столик, и еще, в одном углу и в другом... А там, на подзеркальнике и этажерках, целая выставка красивых безделушек... Тут и гипсовые статуйки, и вазочки из фарфора, и изящные изделия из бронзы.

На стенах картины и портреты. Глаза у девочек разбегались во все стороны при виде всей этой непостижимой для них роскоши.

– Гляди! Гляди! – исступленно зашептала вдруг Дорушка и протянула вперед свой маленький указательный палец.

– Ах!

Дуня поднялась для чего-то на цыпочки и замерла от восторга. Прямо против нее на высокой тумбочке стояла прелестная, закинута назад головка какой-то красавицы из зеленого, крашеного гипса. Прелестный точеный носик, полуоткрытые губки, сонной негой подернутые глаза, все это непонятно взволновало девочку своим красивым видом.

Зеленая статуэтка, казалось, улыбалась Дуне. Ее суженные глаза и запрокинутая назад головка влекли к себе девочку.

Долго бы простояла перед зеленой гипсовой красавицей Дуня, если бы Дорушка не окликнула свою маленькую подружку.

– Ну, что стала? Торопиться надо! Примемся за уборку. Не то на рукодельные часы опоздаем. Беда! – с деловитым, озабоченным видом зашептала Дорушка. – Давай-кась ведро скорейча. Я полы вымою, а ты пыль сотри, да, ради господ бога, осторожнее, Дунюшка! Не приведи господь, разобьем что. Со света сживет Пашка! Ну, начнем, Дуня!

И осторожно отогнув угол ковра, Дорушка схватила швабру, обмотанную тряпкой, обмакнула ее в мыльное ведро и добросовестно углубилась в работу.

Вооружившись пыльной тряпкой, принялась за уборку и Дуня.

Почти с благоговением подходила она к столам и стульям и перетирала ручки и ножки хрупких вещей с трепетом и почти со страхом. К статуям, вазочкам и картинам она не решилась прикоснуться, помня строгий наказ рыжей Жени.

Осторожно подошла она к дивану, собираясь провести тряпкой по его резной с украшениями спинке, случайно подняла глаза на висевшую над ним картину и тихо ахнула, вся охваченная сладким восторгом.

– Деревня! Смотри, Дорушка, деревня! – восторженным шепотом произнесли дрогнувшие губки девочки.

На картине, висевшей на аршин выше головы Дуни, действительно была изображена деревня... Маленькая убогая деревенька приютилась на краю поля... А за нею синел густой непроходимой стеной лес... Любимый лес Дуни!

Крошечная колокольня бедной церковки с прилегающим к ней погостом довершали сходство с родной Дуниной деревушкой, заставляя маленькое сердчишко приютки биться удвоенным темпом восторга и неожиданной радости.

Чтобы хорошенько рассмотреть знакомую ей милую картину, не отдавая себе отчета, Дуня быстро сбросила с ног неуклюжие приютские шлепанцы и, оставшись в одних чулках, взобралась с ногами на диван и прильнула к картине.

Приют с его неприветливыми мрачными стенами, толпа больших и маленьких девочек, добрая ласковая тетя Леля и злая Пашка, даже любимая нежно подружка Дорушка, все было позабыто ею в этот миг.

Милый, милый лес, знакомые избушки, темный погост с крестами, высокая колоколенка – вот что захватило и поглотило сейчас все существо девочки Дуни.

Желая рассмотреть поближе, не их ли избенка нарисована там, с краю деревни, она придвинулась совсем близко к картине и горящим взглядом прикинула к ней.

– Она! Как есть она! – вихрем пронеслось в голове девочки. И радостная слезинка повисла на ее реснице. За ней другая, третья... Выступили и покатались крупные градины их по заалевшему от волнения личику. Слезы мешали смотреть... Застилали туманом от Дуни милое зрелище родной сердцу картины... Вот она подняла руку, чтобы смахнуть досадливые слезинки... и вдруг что-то задела локтем неловкая ручонка... Это «что-то» зашаталось, зашумело и с сухим треском поваленного дерева тяжело грохнулось на пол.

– Дзизинзин! – прозвучало тотчас вслед за этим в ушах Дуни, мгновенно приводя к действительности замечтавшуюся, словно заснувшую в своих грезах девочку.

Побледневшая от неожиданности и испуга, она отвела глаза от картины, опустила их на пол...

– Ай! – вырвалось полным отчаяния звуком из груди Дуни.

– Ай! – вторила ей как эхо не менее ее испуганная Дорушка.

На полу лежала поваленная тумба, а подле нее валялись зеленые черепки гипсовой красавицы, еще несколько минут тому назад пленявшей Дуню.

По бледному испуганному лицу Дорушки Дуня поняла, что случилось что-то ужасное, непоправимое, и от сознания этого непоправимого сердце точно остановилось в груди девочки, замерло и лишь тихими неслышными туками напоминало о себе.

Вдруг глаза Дорушки округлились от ужаса, лицо без тени румянца вытянулось и словно состарилось сразу, а побелевшие губы шепнули беззвучно:

– Павла Артемьевна идет! Пропали мы, Дуня! Господи Иисусе! Пропали совсем!

Действительно, тяжелые, энергичные, как бы мужские шаги «средней надзирательницы» зазвучали поблизости в коридоре.

Павла Артемьевна порывисто распахнула дверь своей комнаты.

Высокая, красивая, крупная фигура ее остановилась как вкопанная на пороге. Одного быстрого взгляда всевидящих глаз надзирательницы было достаточно, чтобы заметить сразу и поваленную тумбу в углу, и гипсовые черепки разбитой головы!

Вмиг густой румянец залил и без того розовое лицо приютской наставницы. Грозно в одну сплошную черную черту свелись на переносице ее густые, тонкие брови.

– А-а?.. – протянула она неопределенно и убийственным взглядом оглянула Дорушку и Дуню.

Потом с легкой гримасой румяных губ, с теми же сердито вспыхивающими огоньками в глазах она шагнула к последней:

– Деревенщина! Косолапая! Вот ты как! – угрожающе прошипела Павла Артемьевна и протянула руку к уху бледной, как смерть, Дуни.

– Нет! Нет! – послышался в ту же минуту скорее стон, нежели голос бросившейся вперед Дорушки. – Нет! Нет! Ради бога! Не она это, не Дуня... Я... Павла Артемьевна, я... разбила куколку вашу... Я виновата... Меня накажите! Меня!

Теперь слова лились фонтаном изо рта побледневшей не менее Дуни Дорушки. Девочка тряслась, как в лихорадке, стоя между надзирательницей и вконец уничтоженной маленькой подругой. Она молитвенно складывала ручонки, протягивая их к Павле Артемьевне, а большие, обычно живые карие глазки Дорушки без слов добавляли мольбу.

Что-то трогательное было во всей фигурке самоотверженной девочки, и это «трогательное» толкнулось в сердце черствой и обычно немилостивой надзирательницы.

Она положила руки на плечи Дорушки и произнесла, отчеканивая каждое слово и зорко, пытливо глядя ей прямо в зрачки:

– Это правда, Иванова, это сделала ты?

Карие глазки заметались, забегали между темными полосками Дорушкиных ресниц.

Бледные щеки девочки залило густым, алым румянцем.

– Тетенька, простите... Павла Артемьевна, голубинька, простите, виновата! – залепетала Дорушка.

Надзирательница ближе придвинула свое свежее розовое лицо к испуганному личику Дорушки.

– Это не ты сделала, а Дуня! Скажи... – прозвучал громко и отчетливо ее энергичный голос.

Зеленая комната ходуном заходила в глазах Дорушки... Волнение девочки было ей не под силу. Дорушка зашаталась, голова у нее закружилась, наполнилась туманом. Ноги подкашивались. Непривычка лгать, отвращение ко всему лживому, к малейшей фальши глубоко претила честной натуре Дорушки, и в то же время страх за Дуню, ее любимую глупенькую еще малютку-подружку заставляли покривить душой благородную чуткую Дорушку.

Быстро мелькнула в сознании девочки молния-мысль:

«Если скажу, что я, мне попадет меньше... Я – рукодельница, Павла Артемьевна меня скорее простит... А Дуню она не любит и накажет строже. Ах, Дуня! Бедная Дуня!»

И обливаясь потом, с опущенными в землю глазами Дорушка прошептала чуть слышно:

– Я разбила... Меня накажите... Я виновата, Павла Артемьевна!

Что было потом, Дорушка и Дуня помнили смутно. Как они вышли от надзирательницы, как сменили рабочие передники на обычные, «дневные», как долго стояли, крепко обнявшись и тихо всхлипывая в уголку коридора, прежде чем войти в рукодельную, – все это промелькнуло смутным сном в маленьких головках обеих девочек. Ясно представлялось только одно: счастье помогло избежать наказания Дорушке, да явилось сознание у Дуни, что с этого дня маленькая великодушная Дорушка стала ей дороже и ближе родной сестры.

Глава двенадцатая

– И сказал господь Каину: – Каин, где брат твой Авель? – И отвечал Каин: – Господи! Я не слуга брату моему. – Тогда...

Голос отца Модеста звучит глуховато, резко, без тех теплых модуляций и переливов, свойственных священнику. Затаив дыхание, слушают рассказ стрижки. Глазенки их, горящие вниманием, жадно прикованы к устам законоучителя. Заалевшиеся личики пылают...

Простым, доступным детскому пониманию языком излагает отец Модест своим малюткам-слушательницам историю Каина и Авеля. Внимательно слушают его рассказ стрижки.

Притихла бойкая Оня Лихарева... Потупила живые лукавые глазки. На задорном, свое нравном лице Вассы Сидоровой застыло странное недетское выражение угрюмой вдумчивости... Беленькая, нежная, хорошенькая Люба Орешкина, кажется, забыла о том, что она Любочка – приютская «красоточка», попечительница любимица, и вся ушла с головою в занимательный, поучительный и страшный своим трагизмом рассказ. Востроносенькая Паша Канарейкина едва дышит от захватившего ее волнения. Маленькая Чуркова полными слез глазенками впивается в батюшку... А Дуня... Шибко бьется-колотится в детской груди маленькое Дунино сердце. Так жаль ей бедненького убитого братом Авеля! Так негодует она, так возмущается всей душою против его убийцы-брата!

И думает, быстро соображая, восьмилетней душой:

«Вот бы нас туда... С Дорушкой... Дорушка бы не попустила. Дорушка бы не струсила. Заступилась бы за Авеля... Не позволила бы убить брата... Дорушка храбрая! Она самой Пашки не испугалась. Она бы Каина не побоялась бы... Милая, родненькая Дорушка!»

И быстро набегаем теплая нежная волна в душу Дуни... Волна безграничного влечения к ее маленькой подружке. Незаметно поворачивает голову Дуня и, под партой протянув ручонку, трогает худенькие пальчики Дорушки.

– Чего ты? – удивленно, не разжимая губ, сквозь зубы роняет Дорушка, чтобы не быть услышанной законоучителем.

– Дорушка... Родненькая... Вспомнилось мне, как ты давеча... у Пашки в горнице... Ах, Дору...

– Не разговаривать! – мгновенно обрывает Дуни шепот голос отца Модеста.

– Кто там шепчется? Нельзя на уроке говорить. Дуня Прохорова! стыдно! Лучше бы урок хорошенько слушала! – стыдит ее батюшка.

Вся малиновая, как вишня, Дуня сконфуженно ерзает на скамье.

Батюшка хмурится. Не выносит отец Модест невнимания в классной.

– А ну-ка, умела развлекаться, умей и ответ держать, – говорит он еще строже, окидывая внимательным зорким оком тщедушную фигурку Дуни. – Расскажи-ка, что слышала здесь о Каине, убившем Авеля? А?

Еще пуще краснеет Дуня. Слышала она многое: и как жертву приносили оба брата богу, и как взвился голубоватый дымок к небу от Авелевой жертвы, и как стлался по земле Каинова приношения дым. И как озлобился Каин на брата, как завистью наполнилось его сердце, как заманил он Авеля и убил.

Все это прочно запало в детскую головку, все это отлично запомнила Дуня. А рассказать не сможет, не сумеет... Не связать ей двух слов.

– Ну, как звали одного брата? – помогает ей вопросом батюшка.

Молчит Дуня.

– Ну, другого помнишь, может?

Тоже молчит.

– Кто помнит? – обращается к сорока девочкам батюшка. – Подними руку!

Два десятка ручонков маленьких, худеньких и красных с неизбежными пятнами чернил (стрижки пишут уже буквы и склады у Елены Дмитриевны на ее уроках грамоты) поднимаются над головами.

– Ну ты, Соня Кузьменко, скажи! – обратился батюшка к худенькой желтолицей скуластой девочке лет десяти, самой толковой и восприимчивой на научные предметы, особенно на Закон Божий.

Соня Кузьменко встала и высоким пискливым голоском отчетливо, ясно и толково рассказала историю Каина и Авеля.

– Хорошо, – похвалил ее батюшка, – умница! Садись! – и он кивнул головой Соне.

Отметок приюткам не ставили, экзаменов в конце года здесь не было, как в городских школах. N-ский приют считался ремесленным заведением, и на научные предметы здесь не обращали такого внимания, как на ремесла.

Правда, с некоторыми девочками, отличавшимися особой толковостью и способностями к учению, занимались усиленнее, нежели с остальными, и по окончании воспитания в приюте их переводили в школу учительниц. Но таких было немного. Способность к рукоделиям наблюдалась больше среди питомиц ремесленного приюта, нежели влечение к научным предметам.

А потому и требовалось от них немного. История Ветхого и Нового Завета, символ веры, заповеди, молитвы, тропари к двенадцатым праздникам. Из арифметики четыре правила, именованные числа и дроби. Из русского языка грамота, грамматика, чтение наизусть стихов, переклад рассказов и басен и несложная диктовка.

Начало географии и краткая отечественная история, преподаваемые теми же надзирательницами, проходились вместе с грамматикой и переложениями рассказов из хрестоматии в двух старших отделениях приюта.

С малышкой спрашивалось немного, вроде счета и задач на четыре правила до ста и чтения, начала каллиграфии да заучивания стихов. И еще краткие рассказы Ветхого Завета.

Из малышек-стрижек особенно отличалась Соня Кузьменко.

Батюшка очень благоволил к развитой, умненькой не по годам девочке.

Нравилось отцу Модесту и то, что десятилетняя Соня с особенным рвением молилась в церкви и пела на клиросе со старшими. Ее писклявый детский дискант врезывался тонкой струной в грудные голоса старше- и среднеотделенок.

– Примерная отроковица! – часто говорил отец Модест, глядя по головке девочку и подчеркивал перед администрацией приюта рвение Сони.

И теперь, выслушав с удовольствием свою любимицу, он долго улыбался еще, вспоминая ее прекрасные ответы.

Потом, обводя классную глазами, батюшка остановил их на маленькой, толстенькой и совершенно белой, без кровинки в лице девочке, с тупыми и вялыми движениями и отсутствием мысли на сонном лице.

– Ну-ка, Маша Рыжова, расскажи теперь то же самое и ты, – приказал батюшка.

Задавание уроков к следующему дню не практиковалось в приюте. На выучивание их не хватало времени, так как уборка, стирка, глажение, а больше всего рукодельные работы занимали все время воспитанниц. Заучивалось все с «голоса» преподавателя, тут же в классной. Молитвы, стихи, грамматические правила, название, имена, года – все это выписывалось на доске наставницами и законоучителем и хором затверживалось старшими девочками.

С малышами приходилось несколько иначе: их учили по слуху, то есть наставники повторяли урок до тех пор, пока он усваивался детьми крепко и прочно. Батюшка знал прекрасно, на кого надо было обратить большее внимание.

Маша Рыжова, сонная и вялая девятилетняя воспитанница, являлась исключительным среди приюток типом непонятливости и бестолковой, почти животной тупости. Сколько ни

бились с нею тетя Леля и отец Модест, сколько ни старались они над развитием девочки, оно не поддавалось ни на йоту. Глупая, апатичная, мечтающая только о том, как бы хорошо поесть и сладко поспать. Маша оставалась вполне равнодушной ко всему остальному. На уроках она дремала, в часы рукоделий вяло ковыряла иглою, приводя этим в неистовство Павлу Артемьевну; даже в часы отдыха, в свободное время приюток, когда девочки большие и маленькие резвились в зале, старшие танцую, малыши взапуски гоняясь друг за другом или устраивая шумные игры, под руководством той же тети Лели, Машу ничто не занимало. Она забивалась куда-нибудь в угол и целыми часами просиживала неподвижно, глядя бессмысленными глазами куда-то вдаль и неустанно жуя что-то.

Это «что-то» было или оставшиеся от обеда и ужина корки хлеба, которые Маша подбирала с жадностью маньячки на столах, или перепадавшие изредка на долю приюток лакомства в виде пряников, пастилок и леденцов, жертвуемых попечительницею для не избалованных гостинцами воспитанниц.

Сейчас вызванная из своего тупого оцепенения Маша нехотя поднялась со своего места.

– Отчего Каин убил своего брата Авеля? – обратился батюшка к толстой рыхлой не по годам девочке.

Осовелые глаза приютки бессмысленно уставились в лицо отца Модеста.

– Надо было, – угрюмо буркнула Рыжова.

– Почему надо? – поднял брови батюшка. Паша Канарейкина подтолкнула локтем свою соседку Глашу Ярову, и обе фыркнули, прикрыв рты руками.

– Потому что от костра чадно стало. По земле чадно. Вот из-за чада этого... От поленниц, значит, – затянула деревянным голосом Маша.

– Садись! Садись! – замахал на нее руками батюшка и, краснея от досады, кинул классу: – Да растолкуйте вы этому неучу, дети, кто хорошо понял историю! Оживите вы ее. Ведь этак она и совсем заснет! – кивнул он на Рыжову. – Кто понял?

Почти сорок ручонков с запятыми чернилами пальцами потянулись над шарообразными головешками.

– Я!

– Я!

– Я, батюшка! – слышались детские голоса.

– Ай! – взвизгнул на всю классную кто-то.

– Это еще что? – строго осведомился батюшка. Маша Рыжова, багрово красная, стояла на конце комнаты и усиленно терла руку.

– Щи-п-ле-т-ся! – протянула она забавно, трубочкой вытягивая губы.

– Кто щиплется? – совсем уже сердито осведомился батюшка.

– О-онь-ка-а Ли-ха-ре-ва! – протянула Маша.

– Оня Лихарева! Ступай к доске! – раздался суровый голос отца Модеста. – Бесстыдница! – присовокупил он, когда красная, как вареный рак, девочка заняла указанное ей в наказание место.

– Стыдно обижать Машу. Она – глупенькая! Ее пожалеть надо, а вы вместо этого так-то! Нехорошо!

Батюшка хотел прибавить еще что-то, но внезапно раздавшийся звонок возвестил окончание урока, и он поднялся со стула.

– Дорушка! Читай молитву! – приказал он дежурной.

– Благодарим Тебе Создателю, яко сподобил еси нас, – зазвенел на всю классную звонкий голосок Дорушки, после чего отец Модест благословил девочек и вышел из классной. Проходя мимо доски и стоявшей подле нее Лихаревой, батюшка строго взглянул на Оню и погрозил ей пальцем.

Лишь только высокая, чуть сутуловатая фигура законоучителя скрылась за дверью, Оня состроила лукавую рожицу и крикнула подругам:

– Вот и не потрафила. Сам же батя «живить» просил... А теперь не ладно! Ах, ты Маша, Маша кислая простокваша, и когда ты поумнеешь только? – ударив по плечу проходившую мимо Рыжову, засмеялась Оня.

Та тупо глянула на нее и, лениво поведя плечами, произнесла:

– Надоела... Отстань... Тете Леле пожалуюсь... – И утицей проплыла мимо.

Глава тринадцатая

– Нынче ужо, к гадалке! – шепотом, замирая от восторга, напомнила Васса подругам, столпившимся у окна.

За окном крупными хлопьями валил снег... Сад оголился... Деревья гнулись от ветра, распластав свои сухие мертвые сучья-руки. Жалобно каркая, с распластанными крыльями носились голодные вороны. Сумерки скрывали всю неприглядную картину глубокой осени. А в зале горели лампы, со стен приветливо улыбались знакомые портреты благодетелей.

Стрижки носились по залу, догоняя друг друга с веселым смехом и взвизгиванием.

Старшие и средние танцевали под звуки пианино, за которым сидела Елена Дмитриевна. Худенькие руки горбуны искусно и быстро бегали по клавишам, и, глядя на эти искусно бегающие пальцы, с разинутым ртом и выпученными глазами жалась Дуня к стоявшей тут же подле нее Дорушке.

Ни такого «играющего» инструмента, ни такой музыкантши не встречала еще за всю свою коротенькую жизнь Дуня Ежедневно с половины восьмого до девяти часов вечера, время между ужином и вечерней молитвой, когда воспитанницам приюта разрешалось играть, плясать и резвиться в зале, и единственная музыкантша приюта, «тетя Леля», садилась за рояль, с той самой минуты действительность переставала существовать для маленькой деревенской девочки. В немудреных, несложных мотивах польки, вальса, венгерки и кадрили (тетя Леля никогда не училась музыке и наигрывала танцы по слуху) Дуне чудилось что-то захватывающе прекрасное, что-то неземное. И, часто поднимая глаза на Дуню, горбатенькая надзирательница ловила ее взор, мечтательный и недетский, полный грусти и безотчетной, печальной радости, тонувший в пространстве.

В такие минуты обрывала игру Елена Дмитриевна и, лаская белобрысую головенку стрижки, старалась спугнуть это недетское, нездоровое, как ей казалось, настроение Дуни.

– А ну-ка, Дуняша, сколько у тебя всего пальцев на руках и на ногах? – шутливо говорила она Дуне.

– Двадцать! – слышался робкий ответ.

– А ежели я четыре зажму, сколько останется на свободе?

– Шестнадцать! – подумав с минуту, решила Дуня.

– Ну, а ежели пять своих ко всем твоим прибавлю, сколько всего?

– Двадцать пять!

– Молодец, Дуня! – радостно восклицала тетя Леля и целовала свою ученицу.

От двух до четырех с десятиминутным перерывом она ежедневно поучала своих стрижек и несказанно радовалась успехам малюток. И Дуня, деревенская девочка Дуня, ничуть не отставала от своих сверстниц. Она за короткое время успела выучиться складам и делать простенькие устные задачи по арифметике, несказанно радуя этим горбатенькую тетю Лелю. Последняя с первого же дня поступления в приют Дуни особенно нежно полюбила девочку. Нравилась горбунье непосредственная, здоровая душа девочки, тихая мечтательность и безответная кротость малютки. Часто ласкала тетя Леля новенькую и разговаривала подолгу с Дуней, расспрашивая ее о деревне, о былом житье дома, о покойном отце и бабушке Маремьяне. И когда прочие стрижки с шумом и визгом гонялись по зале или водили бесконечные хороводы, с пением «хороня золото», или бегая в «кошки-мышки» и «гуси-лебеди», Дуня с неизменной Дорушкой присосеживались к сидевшей за пианино Елене Дмитриевне и с мечтательно устремленными вдаль глазами слушали ее игру.

* * *

– Дунятка... Дорушка... К нам подите! – слышался по другую сторону пианино прерывистый шепот Они Лихаревой, и толстенная, румяная мордочка шалуни выглянула из-за спинки инструмента.

– Ступайте к нам, играть будем! – шептала Оня, и ее живые бойкие глазки поблескивали лукавыми огоньками над тонкими дугами бровей.

– А вы во что? В «кошки-мышки» или в «золотые ворота»? – осведомилась Дорушка деловым тоном.

– Там поглядим, к окну ступайте, Васса Сидорова зовет. Считаться будем.

Васса Сидорова действительно звала, делая им какие-то знаки.

– Идем! – решительно сказала Дорушка и, взяв за руку Дуню, зашагала с нею к окну, около которого собралась небольшая кучка стрижек, в центре которой стояла высоконькая костлявая Васса с темной головенкой-шаром, сидевшей на необычайно тонкой шее.

С обычным сосредоточенным своим видом и внимательным зорким взглядом карих глазенок Дорушка первая подошла к группе.

– Наконец-то! А мы звали вас, манили по-всячески, – затараторила шепотом Васса, – ты, Дорушка, и ты, Дуня, пойдем нынче к среднеотделенкам в спальню. Гадалку посмотрим, а? – лукаво сощурилась, предложила она.

– Не для чего! – отрезала Дорушка. – Маленькие мы еще, на что нам гадать-то!

– Вот дурочка, – засмеялась Васса, – чего там маленькая! Слыхала, что Липа нынче говорила, утресь? Гадалка у них заправская, все может рассказать, что с нами будет через день, через два... занятно... Я бы про Мурку знать хотела.

– Я бы про Хвостика!

– И я про Хвостика! – заволновались девочки.

Мурка и Хвостик были двое оставшихся в живых котят, живших в уголку сада в опрокинутом большом ящике. Стрижкам удалось-таки скрыть присутствие их и от сторожа Михаила и от администрации приюта. Неизвестно, что случилось с двумя другими котятками, но серый Мурка и черненький с белыми пятнами Хвостик жили и благоденствовали вот уже второй месяц на иждивении малюток стрижек.

Девочки, храня абсолютную тайну, ежедневно, во время прогулок бегали навещать своих любимцев. Они кормили котят, вынося из столовой кусочки вареного мяса, предназначенную им обычную порцию в супе. Недождая сами, маленькие приютки старались накормить досыта своих четвероногих друзей.

И мясо, и хлеб, и жирная каша – все это незаметно укладывалось в крошечные фунтики и столь же незаметно для начальнического ока распределялось по карманам воспитанниц.

С нетерпением ожидали девочки часов прогулки. Их любимцы, еще издали заслыша приближение своих маленьких благодетельниц, принимались тихо и радостно мяукать, а завидя девочек, наклонившихся над их «домиком», опрокинутым огромным ящиком с сеном, махали хвостами и забавно облизывались, чуя вкусный запах съестного.

Сама судьба, казалось, оберегала котятшек. Их жилище находилось в самом отдаленном углу большого приютского сада, и никому в голову не приходило забираться туда сквозь густые колючие кусты шиповника. А сам ящик с необходимыми для воздуха отверстиями был плотно приставлен к забору, чтобы не было никакой возможности убежать из него котяткам.

Маленьких узников выпускали из ящика только в часы прогулок. За это время они могли бегать и резвиться вволю. Девочки караулили «своих «деток», как они называли котят, чтобы последние не попались на глаза надзирательницам или, еще того хуже, «самой» (начальнице

приюта), так как присутствие домашних животных, как переносителей заразы, всевозможных болезней (так было написано в приютском уставе), строго воспрещалось здесь.

Исчезновение двух других котиков представляло из себя сплошную тайну, так как никто, кроме девочек-стрижек, не знал о присутствии в большом ящике котят.

Эта тайна исчезновения и смущала, и глухо волновала стрижек. Ведь, чего доброго, таким же таинственным способом могли исчезнуть и серый Мурка, и черный Хвостик, последние любимцы детей. И от одной этой мысли не одно маленькое сердечко в детской груди било тревогу.

– Вот бы спросить гадалку, где Чернуша и Бурятка! – мечтательно предложила Васса.

– А она на картах гадать будет, что ли? – осведомилась Паша Канарейкина.

– Ну, там увидим... Пойдем и увидим, а занятно, девоньки! – хитро улыбнулась Оня.

– Нет, ничего занятного, – резко проговорила Дорушка, сердито взглянув на шалунью, – тетя Леля не велит ходить к старшим, не велит дружить с ними... И я не пойду и Дуне не велю ходить. Ей не о чем гадать, она маленькая!

– Хи-хи-хи! Эвона командирша-то! – засмеялась Васса. – Небось нос тебе не откусит тетя Леля. Ишь ты, сама не идет и Дуню не пукает! Куды, как ладно! Дунюшка, – смягчая до нежности свой резкий голос, обратилась к девочке Васса, – пойдешь с нами, я тебе сахарцу дам? – и она заискивающе глянула в глаза Дуне. Голубые глазки не то испуганно, не то недоверчиво поднялись на Вассу.

– Я с Дорушкой! – проговорила тихо девочка и, краснея, потупилась.

– Вот умница! – проговорила ее старшая подружка и, обняв за плечи Дуню, отвела ее от окна.

– Тихоня! Глупая! Примерница! Ну, ладно, погоди! – крикнула ей вслед рассерженная Васса, – ин будет по-моему, чего захочу, все будет, – торжественно заявила она подругам и стала быстро-быстро шептать окружающим ее девочкам: – Беспременно Дуню взять надо... и Любоньку Орешкину... Одна тети Лелина любимица, другая баронессина. Ежели попадемся да поймают нас по дороге, не так строго взыщется, потому много «любимиц» ругать не будут... Беспременно Дуню прихвачу!

И решив это своим десятилетним умом, лукавая девчонка присоединилась к играющим, наскоро условившись со своим кружком собираться в умывальной, как только захрапит нянька Варвара.

В этот вечер особенно шумно и весело игралось в зале.

Старшие скоро побросали танцы и присоединились к стрижкам.

Приняли участие в играх и тетя Леля, и серьезная, всегда спокойная педагогичка Антонина Николаевна. Играли в «гуси-лебеди», в «золотые ворота» и в «краски»...

– Гуси-лебеди домой, серый волк под горой! – пронзительно, громким голосом выкрикивала Любочка Орешкина и бежала впереди толпы девочек с одного края залы на другой, изображая лебединую матку.

И из-за пианино выскакивала рыжая старшеотделенка Женя Памфилова и с криком: «Самого жирного, самого вкусного гусенка съем, съем!» – бросалась на Любочкино «стадо». Отчаянный визг, писк, шум, хохот, суэта и снова визг стоном стояли в большой приютской зале.

Кричали и визжали стрижки, шумели, суетились средние, хохотали и не меньше детей забавлялись старшие. Все безнаказанно могли шуметь, кричать и возиться в указанное для игры время. Доктор Николай Николаевич отвоевал это право детям.

– Ничто так не развивает легкие, как смех, здоровый хохот и крики, – уверял он Екатерину Ивановну Нарукову приходившую в ужас от всей этой кутерьмы.

И приютки оставляли в покое шуметь и веселиться после ужина, вплоть до вечерней молитвы.

В девять часов дрогнул первый звук колокольчика на пороге залы, и вмиг затихла веселая, нестройная толпа девушек и ребяташек.

– На молитву, дети, на молитву! – послышались громкие голоса надзирательниц.

И через пять минут длинные ряды приюток уже выстроились перед образом Спасителя. Дежурная выступила вперед и стала читать молитву.

Глава четырнадцатая

Вечер в приюте – лучшее время для больших и маленьких воспитанниц. Старшие и средние приютки, пользуясь свободным часом перед отходом ко сну, каждые в своем дортуаре, проводят время по своему усмотрению.

Но большей частью, собираясь у кого-нибудь на кровати, оживленно беседуют на тему о будущем... В это время зарождаются в юных головках самые светлые мечты, самые радужные надежды.

Строятся самые упоительные, но – увы! – мало осуществимые планы о том, что ожидает их «после приюта». По большей части все мечты сводятся к одному общему желанию: открыть собственную белошвейную мастерскую и стать «хозяйкой». Иные не прочь помечтать о месте экономки или «чистой горничной», без уборки комнат в богатом графском или княжеском доме. Иные робко мечтают о замужестве. Но «он», неясный еще образ будущего мужа, представляется совсем туманно... Обыкновенно на этой роли старшие определяют типы вычитанных в романах героев... Но романы, кроме классических произведений, читаемых самими надзирательницами, строго воспрещены в приютских стенах. Однако кое-кто из страстных любительниц бульварной литературы, переводной дешевой стряпни или необычайных походов Ната Пинкертона умудряется под величайшим секретом раздобыть ту или другую запретную книжку. В то время как старшие и среднеотделенки оживленно шепчутся, обмениваясь впечатлениями о прочитанном или строя планы один другого невероятнее на недалекое таинственно-заманчивое будущее, в дортуаре стрижек время проводится совсем иначе.

Нянька Варвара, огромная, плотная веснушчатая особа с огненно-рыжими волосами и вздернутым носом, с голыми до локтей (по форме) руками, тоже сплошь усеянными темным бисером веснушек, сидит в центре спальной, на одной из детских кроваток.

А вокруг нее, тут же на постели, по бокам и за спиной няньки, у ее ног, часто на ее коленях, на полу и табуретах ютятся малыши.

Няня Варварушка, как ее называют дети, рассказывает... Ее обычно грубоватый голос делается растянуто-певучим во время таких повествований. Оттягивая конец каждого слова на последнем слоге, она умышленно делает его таковым.

И мастерица же рассказывать Варварушка! Каких только сказок она не знает! И про Илью Муромца и Соловья Разбойника, и про Бову-Королевича, и про Принца, обороченного медведем; про красавицу Золушку, мачехину падчерицу, словом, про все то, что так жадно глотается разгоревшимися ушками малюток-стрижек.

И лишь только смолкает, желая передохнуть немного, Варварушка, четыре десятка пар сияющих любопытством и восторгом глазенок поднимаются на нее с плохо скрытым разочарованием и мольбою..

– Няня! Нянечка! Нянюша! А еще? А дальше? – несказанно волнуется заинтересованная детвора.

– Ну, будет с вас, спать пора, полунощницы, – грубоватым, сразу потерявшим все свои певучие модуляции голосом говорит Варвара и решительно встает.

– Ня-неч-ка! – лепечут чьи-нибудь плаксиво растянувшиеся губенки.

– Еще чего? Пореву у меня! Вот уж придет тетя Леля, так я!..

Еще грубее звучит голос, а веснушчатая рука вольным или невольным движением грубовато-ласково гладит стриженую головенку. Варварушка, несмотря на свой мужиковатый тон и резкий голос, ангел во плоти по своей отзывчивости и доброте. Для каждой из стрижек у нее наготове приветливость и ласка. И заботится она о своих малютках, как не заботится, пожалуй, другая мать. На дне объемистого Варварушкиного кармана вместе с неизбежными наперстком,

катушкой ниток и носовым платком имеется всегда запас квадратиков сахара или горсточка подсолнухов, покупаемая ею из собственных скудных средств для ее «ребятки».

Зато все младшее отделение, начиная от большой десятилетней Вассы Сидоровой и кончая малютками Олей Чурковой и Дуней Прохоровой, все они обожают Варварушку. Каждая из девочек видит в ней что-то свое, родственное, простое, и, несмотря на то что нянька иногда и ругнет и даже пихнет под сердитую руку, она более близка их сердцу, более доступна их пониманию, нежели сама воплощенная кротость тетя Леля.

Тетя Леля все же «барышня», и между нею и ее девочками целая пропасть, несмотря на всю нежность, доброту и заботливость горбатенькой воспитательницы.

А Варварушка «своя». Такое же дитя подвалов, видевшее и пережившее в своем детстве все то же, что пережила большая часть воспитанниц.

* * *

– Спать, спать, ребятки!

Быстрыми, ловкими руками прикручен фитиль на лампе. Зеленый абажур затянул и без того маленький свет. Приятная полутьма наполнила комнату. Варварушка, тяжело переступая огромными ногами, прошла в свой угол.

Вот она долго стоит на коленях и прилежно отбивает земные поклоны, прежде чем улечься в постель.

Вот заскрипела жалобно кровать под ее здоровым, грузным телом, вот она протяжно зевнула, вздохнула и затихла в своем углу.

Затих вместе с нею и весь длинный дортуар младшеотделенок. Ночная тишина воцарилась над сорока узенькими детскими кроватками. Кое-где уже слышалось мерное дыхание спящих. И легкое всхрапывание Варварушки очень скоро присоединилось к нему.

Дуня лежала с широко раскрытыми глазами на своей жесткой постельке.

Девочке не спалось. Это случалось каждый раз после Варварушкиных сказок.

Ничего подобного этим увлекательным, интересным сказкам она не слыхала у себя в деревне. Горячее воображение ребенка рисовало ей картины только что слышанного. Вот видится Дуне Иван-Царевич, скачущий на сером волке. Вот въезжают они на поляну, посередке которой высится замок Кашея Бессмертного. Страшное чудовище сторожит замок, за стеной которого томится в плену Краса Царевна. Нужно Ивану-Царевичу освободить из неволи красавицу...

Бросается он к воротам, вздымает кверху тяжелый, булатный меч и вдруг отступает неволью...

Худая костлявая фигура Кашея выходит из замка... Идет прямо на витязя-удальца. Но не струсил Иванушка. Гикнул, свистнул в ухо серому волку, обратился волк серым коршуном, Иванушку же пичужкой малой сделал... И исчез коршун с пичужкой, ровно братец старший с младшим, в поднебесье. А Кашей не исчез... Идет долго по поляне... Идет теперь прямо на Дуню, прямо на нее...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.